

Леонид Карпов



**Циничная
училка. Том 4**

Леонид Карпов

Циничная училка. Том 4

«Автор»

2026

Карпов Л.

Циничная училка. Том 4 / Л. Карпов — «Автор», 2026

Думаете, классики писали о вечной любви? Александра Сергеевна Пушкина, Народный учитель РФ ростом 90 см, докажет обратное. Обладая колоссальным умом и абсолютным цинизмом, она видит в книгах лишь парад глупости. Чтобы лично раздать лещей создателям школьной программы, циничная училка даже прыгает сквозь эпохи. Однако Жан-Жак Руссо, Андрей Платонов, Майн Рид, Эрих Мария Ремарк, Михаил Салтыков-Щедрин, Мигель де Сервантес и ее великий однофамилец Александр Пушкин вряд ли обрадуются встрече с ней.

Содержание

«Песня последней встречи», А. Ахматова	5
«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова», М. Лермонтов	8
Петефи, Шандор	10
«Пикник на обочине», Аркадий и Борис Стругацкие	12
«Письмо матери», С. Есенин	14
«Питер Пэн», Д. Барри	16
Платонов Андрей Платонович	18
«Повесть о настоящем человеке», Борис Полевой	20
«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», М. Салтыков-Щедрин	22
«Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем», Н. Гоголь	24
«Поднятая целина», Михаил Шолохов	26
«Подросток», Ф. Достоевский	29
«Поединок», А. Куприн	31
«Полевые цветы», И. Бунин	34
«Полно, степь моя, спать беспробудно...», И. Никитин	36
«Понедельник начинается в субботу», Аркадий и Борис Стругацкие	38
«Попрыгунья», А. Чехов	40
«Портрет», Н. Гоголь	43
«После бала», Л. Толстой	45
«Послушайте!», В. Маяковский	47
«Похождения бравого солдата Швейка во время мировой войны», Ярослав Гашек	49
Конец ознакомительного фрагмента.	51

Леонид Карпов

Циничная училка. Том 4

«Песня последней встречи», А. Ахматова

Свинцовые, налитые ноябрьской слизью туманы Энской области неохотно уползали с разбитого школьного двора, обнажая остовы обглоданных качелей. В кабинете русского языка и литературы пахло мокрой шерстью, дешевым вейпом с ароматом химозной пина колады и застоявшимся страхом.

Особенно выделялся триумvirат местных валькирий – Маня Блыдилина, Наташа Шлюкинская и бесцветная, как больничный бульон, Ксюша Развортко, которые лениво гоняли по экранам засаленных смартфонов фривольные картинки.

Но стоило двери скрипнуть, как тридцать тел мгновенно выпрямились, словно под воздействием гальванического тока.

На пороге стояла Александра Сергеевна Пушкина.

Ее физическое присутствие в пространстве ограничивалось какими-то девянстами сантиметрами от паркета до макушки. Двадцать пять килограммов чистой, дистиллированной воли, сорок лет педагогического стажа. Лилипутка не шла – она шествовала, и ее крошечные туфли двадцать четвертого размера выбивали по линолеуму сухой, почти кавалерийский ритм. Значок «Народный учитель РФ» на лацкане строгого суконного жакета казался орденом на груди полководца, выигравшего Бородинское сражение в одиночку.

Она взобралась на специально сконструированный для нее детский, но очень высокий стульчик, окинула класс колоссальным, бездонным филологическим взором и заговорила. Ее голос, густой и бархатистый, как старое бургундское, мгновенно заполнил убогую кубатуру класса.

– Господа, – выдохнула она, и в этом слове почудился шелест кринолинов и звон шпор. – Сегодня мы прикасаемся к святыне. Серебряный век. Сборник «Вечер» тысяча девятьсот двенадцатого года. Молодая, хрупкая, как фарфоровая статуэтка, Анна Андреевна Ахматова. «Песня последней встречи». О, этот великий, неизбывный трагизм женской души! Слышите ли вы этот надрыв? «Так беспомощно грудь холодела, но шаги мои были легки...» Какая хрупкость, какая античная покорность року! Какая гениальная, чистая, как слеза младенца, деталь – перчатка с левой руки, в беспамятстве натянутая на правую. Это манифест растерзанного сердца, господа. Это гимн великой, жертвенной, всепрощающей любви, которая готова умереть в осеннем шелесте кленов...

Шлюкинская на второй парте шмыгнула носом. Развортко испуганно замерла, очарованная этим вихрем возвышенного пафоса. Казалось, еще секунда – и класс дружно разрыдается от избытка дворянского катарсиса.

В этот момент Блыдилина на задней парте громко, с сочным свистом втянула в себя пинаколадный дым из пластиковой дудки.

Александра Сергеевна замолчала. Пауза длилась вечность. Она медленно повернула голову. Ее огромный, подавляющий интеллект буквально раздавил Маню Блыдилину, заставив ту поперхнуться паром. Пушкина оперлась крошечными ладонями о край стола, и весь ее романтический флер осыпался, как штукатурка в казенном туалете.

– Блыдилина, – негромко, но отчетливо произнесла Александра Сергеевна. – Выплюнь соску. И вы все – закройте свои хлебoreзки и послушайте, что на самом деле написала ваша Ахматова, если убрать из ее соплей сахарную пудру.

Одиннадцатый класс затаил дыхание. Наступила фаза препарирования.

– Нам десятилетиями впаривают в учебниках, что это стихи о «великой трагедии расставания», – цинично усмехнулась Пушкина, барабанила пальцами по ноутбуку. – Хрен там плавал. Это стихотворение – чистейший, эталонный таймлайн классической бытовой истерики и бабского манипулятивного эгоцентризма. Давайте разберем матчасть. Сюжет: дамочка приперлась к мужику на дачу. Судя по всему, без приглашения. Мужик ее бросает. И что делает наша «жертва»? Включает режим психосоматического паралича: «грудь холодела». Блэдилина, когда у тебя прыщ на носу вскакивает, у тебя тоже грудь холодеет от жалости к себе. Но шаги, заметьте, «были легки» – то есть уходить она и не думала, шла медленно, чтобы ее успели догнать и схватить за жопу.

Пушкина слезла со стула и принялась прохаживаться вдоль доски. Когда она заходила за стол, виднелась только ее голова, но эта голова сейчас казалась гильотиной для Серебряного века.

– Теперь про перчатку. О, этот «великий жест растерянности»! «Я на правую руку надела перчатку с левой руки». Вы серьезно думаете, что она это случайно сделала? Баба, у которой каждый взмах ресниц просчитан на три хода вперед? Да она эту перчатку полчаса перед зеркалом натягивала, чтобы получился идеальный кадр для драмы! Это же чистый пост в соцсети начала двадцатого века. Зачем? Чтобы он увидел, как она «страдает», испугался ее «безумия» и вернулся. Обычный дешевый шантаж бытовой дуры.

Александра Сергеевна сделала паузу, наслаждаясь тем, как Наташа Шлюкинская медленно выпадает в осадок.

– Но дальше – больше, господа. Начинается шизофрения и галлюцинации на почве ущемленного эго. «Показалось, что много ступеней, а я знала – их только три!» Вы понимаете степень ее неадекватности? Три ступеньки с крыльца сойти не может, ее уже штормит, как матроса в бурю. И тут – вишенка на торте. Ей начинает казаться, что с ней разговаривают деревья. Клены! «Между кленов шепот осенний попросил: „Со мною умри!“» Ребята, это не лирика. Это либо тяжелый приход от кокаина, который до революции в Петербурге жрали горстями, либо терминальная стадия истерического психоза. Клены у нее заговорили! И что клены говорят? «Я обманут моей унылой, переменчивой, злой судьбой». То есть она даже деревьям приписывает роль несчастных кукол, которые крутятся вокруг ее личной драмы. Весь мир обязан страдать, потому что Аннушку не поцеловали на прощание!

Пушкина презрительно фыркнула, ее маленькое лицо исказила гримаса глубочайшего презрения к человеческой глупости.

– И каков ее ответ? «Милый, милый! И я тоже. Умру с тобой...» Кому она это говорит? Клену? Мужику, который уже перекрестился и закрыл за ней дверь? Или самой себе в экстазе самолюбования? Да она тащится от этой мысли! Ей не мужик нужен, ей нужен повод для красивого некролога. А финал? «Только в спальне горели свечи равнодушно-желтым огнем». Перевожу на ваш дегенеративный язык: мужик заперся в комнате, оставил гореть свечи и спокойно лег спать, или, что вернее, наливает себе коньяку и радуется, что эта сумасшедшая наконец-то свалила с его веранды. Свечи горят «равнодушно». Мужику – по барабану! Он умыл руки. А она стоит под окнами в темноте, маленькая, злобная фурия, смотрит на этот «равнодушно-желтый огонь» и судорожно соображает, какую бы еще гадость написать, чтобы он до конца дней своих не отмылся.

Александра Сергеевна остановилась. Класс сидел в гробовой тишине. Стереотип о «нежной и незащитной поэтессе» был не просто сломан – он был пережеван циничным филологическим умом этой девятидцатисантиметровой женщины и выплюнут в ведро.

– Вот вам и вся «Песня последней встречи», – подытожила Пушкина, садясь на свой стульчик. – Обычный манифест эгоистки, не умеющей проигрывать. Запишите тему домашнего сочинения: «Психопатология и элементы stalking в ранней лирике Ахматовой». Вопросы есть?

Вопросов не было. Мария Блыдилина тихо убрала вейп в самый дальний карман рюкзака.

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова», М. Лермонтов

За окном кабинета русского языка и литературы густел тягучий, серый, как плохо промытая мензурка, провинциальный ноябрь. Небо, казалось, распухло от невыплаканных слез и висело над крышей хрущевки напротив, словно вымокшая шинель. Внутри класса царило то душливое, благословенное безмолвие, которое наступает лишь тогда, когда тридцать подростковых организмов одновременно погружаются в пучину экзистенциального ступора.

За дубовым столом, возвышаясь всего на несколько ладоней над полированным деревом, сидела Александра Сергеевна Пушкина. Девяносто сантиметров чистейшей, концентрированной филологической ярости, увенчанной безупречной седой халой. Народный учитель РФ казалась фарфоровой статуэткой, случайно забытой великанами, но ее огромные, навывкате, насквозь видящие глаза заставляли двухметрового хулигана Витьку Новозокрадина сжиматься в точку и несуществующим хвостом замечать следы своего присутствия за партой.

– Вслушайтесь, – Александра Сергеевна подняла крошечную, сухую руку с идеальным маникюром, и в классе, казалось, перестал тикать даже казенный хронометр. – Какая симфония подлинного, неоскверненного русского духа бьется в лермонтовских строках. О, этот великий, неизбывный трагизм! Какая ювелирная экспозиция чести, пред которой блекнет сама смерть. Молодой купец Степан Парамонович, оплот христианской морали и домостроевского порядка, выходит на берег Москва-реки не ради корысти, не ради гордыни. Он несет свое растерзанное сердце, омытое слезами верной супруги Алены Дмитриевны, как сакральную жертву на алтарь оскорбленного семейного лада. Поэма дышит первозданной, былинной правдой, где каждое слово – удар колокола по нашей очерстевшей совести...

В этот момент на задней парте Витька Новозокрадин, борясь с утренним несварением от сосиски в тесте, вдруг глухо и протяжно рыгнул, сам испугавшись содеянного.

Маленькие пальчики Александры Сергеевны, сжимавшие томик Лермонтова, замерли. Взгляд черных глаз медленно, как дуло танка, повернулся к галерке. Она аккуратно положила книгу и встала на стул, чтобы казаться повыше.

– Новозокрадин, дегенеративное ты подземелье, – выдохнула она голосом уставшего, но высокооплачиваемого киллера. Стиль девятнадцатого века осыпался со стен кабинета вместе со штукатуркой. – Ты сейчас издал звук, который идеально резюмирует всю эту лермонтовскую писанину. Вся эта «Песня про купца Калашникова» – величайший в истории русской литературы гимн абсолютному, эталонному кретинизму, где три клинических идиота устроили кровавую баню на почве запущенных комплексов.

Класс затаил дыхание. Новозокрадин икать перестал.

– Давайте препарируем этот шедевр без соплей из методичек, – Александра Сергеевна спустилась со стула и прошла вдоль доски туда и обратно, ее крошечные туфельки глухо стучали по линолеуму. – Персонаж номер один: Кирибеевич. Лучший опричник царя, элита, спецназ, любимчик Грозного. Мужик при должностях, деньгах и связях. И что делает этот альфа-самец? Он влюбляется. В замужнюю бабу. Причем ладно бы тайно страдал, так нет, этот гений тактического сыска решает зажать ее в темном переулке, сорвать повойник и облобызывать. Зачем? Чтобы что? У тебя весь город в распоряжении, тебе царь готов любую девку сосватать, но тебе всенепременно нужно устроить харассмент под окнами у сплетниц-соседок. Это не любовь, дети, это тяжелая форма эксгибиционизма и демонстративного слабоумия.

Она остановилась, смерив класс презрительным взглядом.

– Персонаж номер два: Алена Дмитриевна. Потерпевшая. Прибегает домой, простоволосая, косы растрепаны. Муж, Степан Парамонович, сидит, считает выручку. И тут баба вместо того, чтобы включить холодный женский рассудок и сказать: «Степа, ко мне на улице приставал пьяный опричник, давай уедем от греха подальше в Муром или подадим челобитную через твоих авторитетных купцов-гостей, устраивает классическую бытовую истерику. Она падает в ноги и кричит, выражаясь современным языком: «Убей меня, расстреляй меня, он меня целовал-миловал!» Она буквально берет канистру с бензином и выливает на тлеющий эгоизм своего мужа. Она сама, своими руками, отправляет его на плаху, потому что ей жизненно необходимо, чтобы из-за ее чести пролилась чья-то кровь. Чистой воды виктимное поведение, замешанное на провинциальном мазохизме.

Александра Сергеевна горько усмехнулась, отчего ее маленькое лицо стало похоже на маску античной трагедии.

– Ну и вишенка на этом торте из глупости – сам Степан Калашников. Наш «герой». Наш рыцарь без страха и упрека. Что делает нормальный купец, когда узнает, что его жену обидел силовик? Он включает экономические рычаги. Он думает о бизнесе, о младших братьях, которые у него на иждивении, о детях в люльке. Но Степа у нас не такой. У Степы ущемлено эго. И этот коммерсант решает выйти на кулачный бой против профессионального убийцы. То есть элитный боец-гвардеец и купец, пусть и крепкий, но все же любитель, который тяжелее весовых гири в мирное время ничего в руках не держал. Шансы понимаете?

Она сделала паузу, давая восьмому «Г» время прочувствовать всю глубину абсурда.

– Ладно, Калашникову везет. Чистая случайность – попал Кирибеевичу в висок, убил на месте. Публика в шоке, царь в ярости. Иван Васильевич Грозный – человек, как мы знаем из истории, со специфическим чувством юмора и тяжелым характером, спрашивает напрямую: «Ты волей или неволей убил моего лучшего бойца?» И вот тут наступает апофеоз дебилизма. Калашников встает в гордую позу и заявляет: «Убил волей, а за что – не скажу, только Богу единому». Степа, ты идиот? Перед тобой стоит абсолютный монарх с паранойей. Скажи ты ему правду: «Царь-надежда, он мою венчанную жену опозорил, перед родом выставил шлюхой, я за законный брак стоял!» Грозный, при всей своей жестокости, семейные скрепы чтит. Он бы поржал, пожурил, сослал бы Степу в монастырь на полгода для приличия, но жизнь бы сохранил. Но нет! Степе нужна красивая поза! Степе нужен суицидальный перформанс!

Пушкина медленно подошла к первой парте и с тихим стуком опустила ладонь на тетрадь отличника Кости Хинкалова, отчего тот испуганно вздрогнул.

– В итоге: Калашникова казнят, голова в корзине, а Алена Дмитриевна с детьми и братьями переходят на гособеспечение, потому что Грозный от щедрот выделил им пособие из казны и разрешил братьям торговать без пошлин. Степа просто переложил ответственность за семью на царя ради красивого суицидального перформанса! Зато «честь сохранили». Вывод из этой лермонтовской драмы один, дорогие мои неандертальцы: если у тебя вместо мозгов амбиции и гормональный всплеск, ты закончишь на позорном эшафоте под топором палача, а из твоей глупости потом сделают патриотическую поэму для восьмого класса. Но это не точно.

Александра Сергеевна резко захлопнула учебник. Звук получился сухим и хлестким, как выстрел. Она выпрямилась во весь свой крошечный рост, который сейчас казался Новозокрадину размером с Останкинскую телебашню.

– Запишите домашнее задание, жертвы инволюции, – тихо сказала она, возвращаясь к своему безупречно-интеллигентному тону. – Сочинение на тему «Психопатология семейных отношений в поэме Лермонтова». Постарайтесь использовать слова длиннее трех слогов. Новозокрадин, к тебе это не относится, просто перепиши текст без орфографических ошибок, если твои лапы способны держать ручку. Урок окончен. Вон отсюда.

Петефи, Шандор

В тот день Александра Сергеевна Пушкина пила токайское. Настоящее, тягучее, как расплавленный янтарь, «Асу» в шесть пунтонов, пахнущее изюмом, дубовой бочкой и вечностью.

Девяносто сантиметров ее безупречного, затянутого в строгий черный жакет роста едва возвышались над дубовым столом, но спина Народного учителя Российской Федерации оставалась прямой, словно монарший скипетр. Двадцать пять килограммов живого веса – пустяк для физики, но непреодолимая масса для провинциального департамента образования, который трепетал перед Пушкиной уже не одно десятилетие.

Она сделала глоток, и комната поплыла. Александра Сергеевна поморщилась: она вечно забывала, что благородные лозы имеют над ее филологическим сознанием странную, почти мистическую власть, стирающую хронологические границы.

В мгновение ока стены хрущевской квартиры раздвинулись, обращаясь в бесконечную, подернутую предвечерней дымкой венгерскую пушту. Воздух сделался густым, напоенным ароматом ковыля, дикого чабреца и далекого порохового дыма. О, эта великая, истомленная солнцем равнина Альфельд, где каждый курган дышит историей, где ветер поет на непостижимом, угловатом угорском языке! Здесь, под куполом лазурного, словно эмалевого неба, рождалась истинная свобода.

И посреди этого благословенного простора, опершись на саблю, стоял он – юноша с лихорадочным блеском в черных глазах, кумир нации, пламенный трибун, чье сердце билось в такт с набатом 1848 года. Шандор Петефи. Великий поэт, растворивший свою молодую жизнь в священном огне революции, не оставив земле даже своего праха, лишь чистый, звенящий миф.

– Какая поэзия... – прошептала Александра Сергеевна, бережно поправляя сползающие на крошечную переносицу очки в золотой оправе. – Какая хрустальная, звенящая жертвенность. «Любовь и свобода – вот все, что мне надо...» Мог ли этот чистый отрок, этот нежный лирик, оплакивавший увядшие розы на могиле Этельки Чапо, подумать, какую бурю он принесет в мир? Как сладостно и страшно прикасаться к истокам национального гения...

Петефи обернулся. Он удивленно уставился на стоявшую перед ним крошечную женщину, которая едва доставала ему до эфеса сабли, но смотрела на него со смесью материнской нежности и ледящей душу пронизательности.

– Эй, голубчик, – вдруг сухо, без всякого перехода, каркнула Александра Сергеевна, и голос ее приобрел зловещую, базарную резкость. – Сабельку-то опусти, не маши железякой, у тебя от нее все равно толку, как от козла молока. Ты же в армии служил – тебя оттуда через полгода поперли за профнепригодность и хлипкое здоровье. Великий воин, господи помилуй. С чахоточной грудью и амбициями Бонапарта.

Петефи насупился, его усы гневно дернулись.

– Женщина, ты кто? Я – голос мадьярского народа! Я написал «Национальную песню»!

– Да знаю я, что ты написал, Саша. Можно я буду звать тебя Сашей? Твое настоящее имя Александр Петрович, папа-серб – мясник, мама-словачка – прачка, а ты у нас, значит, главный чистокровный мадьяр, – Александра Сергеевна цинично ухмыльнулась, ее маленькая ножка в ортопедической туфле качнулась взад-вперед. – Ты, Сашенька, классический пример того, как закомплексованный, нищий недоучка, которого выгнали из трех лицеев, находит гениальный способ сублимировать свои обиды. Тебе не дали доучиться, в театре давали роли «кушать подано», жрать было нечего – и тут, бабах, эврика! Национализм! Самая дешевая, самая ликвидная валюта для неудачника.

– Мои стихи поднимали полки! – патетически воскликнул поэт. – Я требовал свободы для Венгрии!

– Свободы? – Пушкина подпрыгнула, чтобы сесть на поваленную телегу, оказавшись с Петефи почти на одном уровне глаз, и в упор уставилась на него своим страшным, колоссальным филологическим умом. – Не смеши мои седые волосы. Ты требовал свободы для венгров, чтобы эти самые венгры могли безнаказанно душить славян, румын и евреев. Твой «национальный подъем» – это обыкновенный эгоцентричный пшик, завернутый в красивую рифму. Ты же психопат был, Сашенька. Ты в своих статьях и стихах всерьез требовал цензуры для врагов и полной диктатуры меньшинства. Ты писал: «Кто не с нами, тот предатель, и его надо вешать». Чистый, незамутненный тоталитаризм.

– Это ради высшей цели! – выкрикнул Петефи, отступая на шаг от пугающего карлика.

– Это ради твоего раздутого эго, пупсик, – отрезала Александра Сергеевна. – Ты сочинил идеальную матрицу для будущих людоедов. Ты думал, твои стишки про «мадьяр, которые снова будут славны» – это про романтику? Держи карман шире. Пройдет меньше века, и твои тексты станут настольной книгой у парней из «Скрещенных стрел». Салашисты, венгерские фашисты, твоими строчками оправдывали массовые расстрелы на набережной Дуная. Они, когда людей в ледяную воду живьем бросали, небось, тоже твою «Национальную песню» мурлыкали под нос: «Клянемся, клянемся, что рабами мы больше не будем!». А то, что они сами стали палачами – так это в твоём тексте между строк мелким шрифтом прописано.

Петефи побледнел. Его романтический флер осыпался, как сухая штукатурка.

– Но я не хотел... Я погиб при Шегешваре... За свободу...

– Да ладно тебе врать-то, хотя бы здесь, – Пушкина брезгливо махнула маленькой ручкой. – Погиб он. Тебя, дурачка, наши казаки просто растоптали в кустах, потому что ты, вместо того чтобы делом заниматься, бегал по полю с карандашиком и рифмовал «кровь-любовь». Ты даже трупа своего не оставил, устроил из собственной кончины дешевое шоу, чтобы сто пятьдесят лет придурки искали твою могилу то в Сибири, то в Трансильвании. А знаешь, кто твои главные фанаты сегодня? Современные венгерские ультраправые. Партии «Йоббик» и «Ми Хазанк Мозгалом», бритоголовые штурмовики. Они твоим портретом жопу прикрывают, когда требуют оттяпать куски от Румынии и Украины. Ты для них – икона ксенофобии и реваншизма. Ты дал им легитимность. Твоя великая поэзия – это просто качественная смазка для колес фашизма. Ты романтизировал ненависть, Саня. Ты сделал шовинизм сексуальным для прыщавых подростков.

Петефи схватился за голову, сабля с грохотом упала в ковыль.

– Я хотел лишь, чтобы мой народ был велик...

– Великая поэзия оставляет после себя культуру, а твоя оставила только бритоголовых штурмовиков с твоим портретом, поэт хренов, – отрезала Александра Сергеевна. – Ладно, заболталась я с тобой. Мне еще завтра оболтусам из девятых классов объяснять, почему Лермонтов был токсичным абыюзером, а не просто грустным мальчиком.

Она сделала резкое движение, словно стряхивала с рукава назойливое насекомое. Про странство пушты свернулось в трубочку, мадьярский ветер стих, и Александра Сергеевна снова обнаружила себя сидящей на специальной детской подушке на своем кухонном стуле. Перед ней стоял пустой бокал из-под токайского.

– Опять эта региональная магия, – проворчала она, глядя на свои крошечные часы. – Девяносто сантиметров чистой ярости, а все туда же – в девятнадцатый век тянет. Ну ничего. Зато завтра на факультативе никто не посмеет пикнуть про «светлый образ революционера». Препарируем Сашеньку по полной программе. Вместе со всеми его «Скрещенными стрелами».

Она тяжело вздохнула, слезла со стула и пошла проверять тетради, неся свой огромный, безжалостный ум над паркетом старой квартиры.

«Пикник на обочине», Аркадий и Борис Стругацкие

Вечерний свет, густой и маслянистый, словно растопленное монастырское сало, лениво стекал по закопченным кирпичным стенам заброшенного депо на окраине города Н. Воздух здесь был напоен густым, почти осязаемым ароматом ржавчины, перепревшей полыни и мазута – той неповторимой российской меланхолией, которая рождается только там, где человеческий труд окончательно капитулировал перед энтропией.

На ржавом рельсе, аккуратно расправив складки безукоризненной плиссированной юбки, восседала Александра Сергеевна Пушкина. Крошечные ножки в лаковых туфельках двадцать четвертого размера, не доставая до земли, мерно покачивались в такт какому-то внутреннему, лишь ей одной слышному классическому мотиву.

На ее крошечном колене, едва превышающем своими размерами спелую сливу, покоился томик Стругацких. Сбоку, на перевернутом эмалированном ведре, уныло курил Сашка Пистотрясов – бывший двоечник, а ныне совершенно потерянный сорокалетний слесарь, искавший у старой учительницы не то утешения, не то бесплатного филологического совета для разгадывания кроссворда.

– Ты взглядишь, Сашенька, в эту великую эсхатологическую тоску, – заговорила Александра Сергеевна, и ее голос, неожиданно глубокий, бархатный, округлый, как у оперной дивы, заставил Пистотрясова вздрогнуть и выпрямить спину. – Братья Стругацкие создали не просто фантастический роман, нет! Это чистейшая, омытая слезами вселенского сиротства литургия человеческому духу, заброшенному в ледяную пустыню непонятого космоса. Какая нежность, какое благоговение перед Тайной! Зона – это ведь алтарь неведомого Бога, метафора непостижимого абсолюта, где каждый шаг сталкера – это восхождение на Голгофу, молитвенный искуc, проверка праведности духа. А Золотой Шар? О, это же библейский Ковчег Завета, сияющий в притонах Хармонта, обещание абсолютного искупления для исстрадавшегося человечества...

В этот момент Сашка Пистотрясов, замороженный патетикой маститого филолога, неосторожно шмыгнул носом и, потянувшись за сигаретой, уронил в ржавую лужу полбуханки серого хлеба, которую держал в кармане.

Александра Сергеевна замолчала. Огромные, выпуклые, невероятно умные глаза Народного учителя РФ медленно опустились к луже, затем переместились на Сашку. Весь ее девятосантиметровый силуэт, увенчанный строгим шиньоном, внезапно закаменел. Музыка сфер оборвалась.

– Ну и было же ты, Пистотрясов, – сухо, без тени прежней напевности отчеканила Александра Сергеевна, сплевывая на шпалу несуществующую шелуху. – Руки из жопы, как и у всей вашей популяции. Впрочем, чему я удивляюсь? Вы же, сука, генетически неспособны ценить то, что вам дают. Прямо как персонажи этой книжки, которую вы, дебилы, почему-то считаете гимном гуманизму.

Она с треском захлопнула книгу, едва не отдавив себе крошечные пальцы, и посмотрела на Пистотрясова как на колонию холерных вибрионов.

– Какой к черту космос? Какая метафора Бога? «Пикник на обочине» – это гениальный, леденящий душу отчет о том, что человек в массе своей – это тупое, жадное животное, у которого из всех рефлексов работают только хватательный и половой. Стругацкие просто поиздевались над советским интеллигентиком, подсунув ему зеркало. Ты на Рэдрика Шухарта посмотри без школьного сиропа. Великий бунтарь? Трагический герой? Да он обычный уголовник, барыга и классический абьюзер с посттравматическим стрессовым расстройством. Вся его «профессия» – это вынести со склада чужое имущество и загнать его скупщикам за баксы, чтобы вечером нажраться в баре «Боржч» до изумления. Он же двух слов связать не может, у него мыслительный процесс на уровне прапорщика вещевой службы.

Она легко, как птица, спрыгнула с рельса. Рост в девяносто сантиметров заставлял ее смотреть на сидящего Пистотрясова снизу вверх, но ее легендарный уничтожающий взгляд ментально втапывал слесаря в бетонное основание депо.

– А уж финал, над которым десятилетиями сопли распускают! – Александра Сергеевна прошлась взад-вперед по шпале, заложив крошечные ручки за спину. – «Счастья для всех, даром, и пусть никто не уйдет обиженным!» Ты в текст-то вчитывался, жертва пьяной вечеринки? Из-за чего эта гнида Шухарт так запела? Да потому что у него мозги расплавились от страха и собственной ничтожности!

Александра Сергеевна замерла, эффектно вскинув подбородок, будто ждала от застывшего слесаря немедленного ответа у доски.

– Он притащил к Шару молодого парня, Артура, зная, что пацана сейчас завяжет в узел «мясорубка». Он использовал живого человека как одноразовую отмычку, чтобы доползти до кормушки. И когда парня закрутило фаршем, этот великий гуманист сел перед Шаром и понял: а просить-то нечего! За всю жизнь он не нажил ни одной мысли, кроме как «украсть и выпить». У него в башке стерильная пустота среднестатистического обывателя. И этот сопливый лозунг про «счастье для всех» – это не великое прозрение, это полная капитуляция тупого эгоиста, который обосрался от осознания своей духовной импотенции. Он просто перекинул ответственность на Шар: «Я тупой, я не знаю, чего хотеть, на, реши за меня!»

Александра Сергеевна остановилась, поправила крошечный воротничок блузки и цинично усмехнулась.

– Стругацкие завернули в обертку фантастики страшную правду: если к человечеству прилетят боги или пришельцы, люди не станут учить их язык или перенимать мудрость. Они полезут на их помойку доедать объедки, торговать инопланетным мусором из-под полы и выбивать друг другу зубы за право обладания космическим презервативом. Зона – это не алтарь, Пистотрясов. Зона – это зеркало торгового центра в базарный день. И то, что Шухарт в конце разродился чужой цитатой, доказывает лишь одно: скотина осталась скотиной, просто сытой и напуганной.

Она легко подхватила сумочку, размером с кошелек для мелочи, и направилась к выходу из депо, ни разу не обернувшись на застывшего слесаря.

«Письмо матери», С. Есенин

Октябрьский туман над Саранском – или любым другим городом, где асфальт укладывали еще при Брежневe – ложился на школьный двор густо, как просроченная сметана. В кабинете русского языка и литературы пахло сыростью, мокрыми шерстяными носками одиннадцатого «Г» и неизбежностью.

Александра Сергеевна Пушкина стояла на специально сколоченном для нее деревянном подиуме за учительским столом. Со стороны казалось, что из-за массивной дубовой тумбы просто торчит безупречно уложенная седая голова с точеным профилем римского патриция.

Девяносто сантиметров живого роста и сорок лет педагогического стажа. Ее крошечные туфли двадцать четвертого размера покоились на подставке, но ментальный масштаб этой женщины заполнял класс так, что тридцать пар пубертатных хулиганов и будущих мастеров маникюра сидели тише, чем мыши под веником. Она была Народным учителем РФ, и ее филологический гений мог раздавить человека быстрее, чем случайный прохожий наступает на улитку.

Она подняла крошечную, сухую руку, унизанную фамильным серебром. В классе воцарилась звенящая, благоговейная тишина.

– Господа, – ее голос, неожиданно глубокий, грудной, бархатный, поплыл над партами. – Сегодня мы открываем святыню. Сергей Александрович Есенин. 1924 год. Закат мятежной души, уставшей от кабацкого угара, ищущей очищения. «Письмо матери». Какая пронзительная, хрустальная элегия! Какая пасторальная нежность струится над этой убогой избушкой, где вечерний, несказанный свет становится метафорой божественного прощения. Поэт, этот блудный сын русской равнины, преклоняет колени перед святостью материнских седых волос. Он просит ее не будить того, что отмечталось, он ищет в ее ветхом шушуне защиту от жестокого, распинающего его мира... Вы почувствуете эту метафизическую тоску по утраченному раю? Этот белый весенний сад как символ абсолютной чистоты?..

На задней парте Вася Кизячок, чей IQ едва превышал комнатную температуру, громко, на весь класс, втянул носом соплю и смачно зевнул, хрустнув челюстью.

Александра Сергеевна замолчала. Глаза ее, секунду назад лучившиеся серафическим светом, мгновенно превратились в две ледяные щелки. Она медленно сошла с подиума. Маленькие ножки четко отбивали такт по линолеуму. Она подошла к последнему ряду, посмотрела снизу вверх на Василия и оперлась ладонями о край стола.

Стиль Серебряного века испарился. Начался чистый Буковский.

– Кизячок, завали хлебoreзку, – отчетливо, со стальным цинизмом произнесла Пушкина. – Впрочем, твое животное срыгивание аутентично. Есенин одобрил бы. А теперь, дегенераты, открываем тетради и пишем тему: «Анатомия профессионального паразитизма и манипуляций в стихотворении "Письмо матери"».

Класс судорожно заскрипел ручками.

– Вы же думаете, – Александра Сергеевна зашагала между рядами, едва доставая макушкой до локтей сидящих подростков, – что это стих о сыновней любви? Чушь собачья. Это чистейший, эталонный манифест тридцатилетнего инфантильного нарцисса и алкоголика, который собирается приехать к престарелой матери исключительно за тем, чтобы пожрать и пережрать шухер.

Она остановилась, задрав голову к потолку, словно цитируя по памяти:

– «Пишут мне, что ты, тая тревогу, загрустила шибко обо мне...» Кто пишет? Соседи? Нет, господа. Это классический прием абыюзера под названием «перекладывание ответственности». Сереженька прекрасно знает, что старая женщина с ума сходит в своей деревне, пока он в Москве полирует стойки кабаков и дерется на финках. Но ему лень спросить прямо. Он ссылается на третьих лиц. А дальше начинается самое прекрасное: «Не такой уж горький я

пропойца, чтоб, тебя не видя, умереть». Вы текст вообще читали? Это же шедевр газлайтинга! Он ей буквально говорит: «Мать, хорош драматизировать, я пью, но в меру, от цирроза прямо завтра не сдохну, так что завали лицо и не порти мне настроение своим климаксом».

Класс замер. У Васи Кизячка отвалилась челюсть.

– Но вершина эгоизма, – Пушкина хищно улыбнулась, ее маленькая фигурка в этот момент казалась колоссом, – это финальные строфы. Вдумайтесь в этот бред: «Я вернусь, когда раскинет ветви по-весеннему наш белый сад. Только ты меня уж на рассвете не буди, как восемь лет назад». Перевожу на ваш птичий язык: «Мамаша, я приеду весной. Буду спать до обеда с перепоя. Жрать мне приготовь, но над душой не стой. Морали мне твои не сдались». «И молиться не учи меня. Не надо!» – пишет этот гений. То есть он едет в ее дом, на ее обеспечение, но сразу выставляет ультиматум: «Твои ценности – дерьмо, бабка, я тут самый умный, у меня депрессия и выгорание».

Она резко повернулась на каблуках, вернулась к доске и посмотрела на притихших одиннадцатиклассников с глубочайшим презрением к человеческой глупости.

– Есенин препарирует трагедию старения своей матери не ради сострадания. Он использует ее «ветхий шушун» как красивый фон для собственного нытья! «Слишком раннюю утрату и усталость испытать мне в жизни привелось»... Боже мой, тридцать лет мужику! Ни дня у станка не стоял, пахал только языком и печенью. Но устал так, будто лично Транссиб укладывал. А мать, которая всю жизнь в этой избушке коровам хвосты крутила и его, обормота, выкармливала, должна его пожалеть! Он возвращается в деревню не помогать, не огород копать. Он едет туда как в бесплатный санаторий с функцией психологической разгрузки, где бабка служит одновременно горничной и немым зрителем его душевных корч.

Пушкина легко, одним движением, запрыгнула обратно на свой деревянный постамент. Она снова возвышалась над столом – маленькая, безупречная, страшная в своей интеллектуальной нагоде.

– Поэт заявляет: «Ты одна мне помощь и отрада, ты одна мне несказанный свет». И тут же, в следующей строфе: «Так забудь же про свою тревогу... Не ходи так часто на дорогу». Понимаете парадокс? Он признает ее уникальность и тут же запрещает ей чувствовать! «Ты мой свет, но не отсвечивай. Спрячься в угол и не беспокой меня своим шушуном, ты портишь мне эстетику катарсиса». Великая русская литература, господа, учит нас одной важной вещи: самые красивые слова о любви чаще всего пишут самые законченные эгоисты, которым просто нужен бесплатный пансион.

Она посмотрела на часы. До звонка оставалось две минуты.

– На дом – сочинение. Тема: «Использование образа матери как бесплатного психологического ресурса в лирике Есенина и блатном шансоне». Кизячок, если спишешь с ГДЗ, я лично сделаю так, что твоя карьера дворника начнется прямо со следующего понедельника. Свободны.

«Питер Пэн», Д. Барри

Июньский полдень в провинциальном N плавился, как дешевый парафин. Старое городское кладбище, укрытое столетними вязами, дышало сырой могильной прохладой и тяжелым, сладковатым запахом цветущей сирени. Между покосившимися оградами из чугуна, едва приминая сочную, некошеную траву, двигалась фигура столь малая, что издали ее можно было принять за бродячую цирковую обезьянку или потерявшегося первоклассника.

Это была Александра Сергеевна Пушкина. Народный учитель Российской Федерации, чей филологический гений десятилетиями держал в паническом страхе весь облоно, покоился в теле высотой ровно девяносто сантиметров. Двадцать пять килограммов чистой, концентрированной мизантропии, увенчанной безупречным шиньоном. Она несла перед собой, словно транспарант, огромный белый пион, срезанный у подъезда хрущевки.

Рядом, покорно согнув спину, семенил завуч Илья Ильич Ибломов, грузный мужчина, страдающий от одышки и чувства собственной ничтожности. Александра Сергеевна соизволила выбрать кладбище для «методической прогулки», поскольку только здесь, по ее заверениям, покойники не нарушали правила синтаксиса своим безграмотным дыханием.

Она остановилась у безымянного склепа, изящным жестом опустила пион на замшелый камень и заговорила. Голос ее, на удивление глубокий, бархатный, округлый, зазвучал под сводами деревьев, словно орган в пустом соборе:

– Посмотрите на этот тлен, Илья Ильич. Как упоительна, как величественна тоска по невозвратному! Нам, увязшим в корыстной прозе бытия, недоступен тот чистый, хрустальный трепет, который сэр Джеймс Барри влил в чашу своего бессмертного шедевра о Питере Пэне. О, эта великая элегия невинности! Это тончайшее, кружевное полотно о метафизическом страхе перед неумолимым Хроносом. Какая нежность в каждом описании Кенсингтонских садов, какое целомудрие в фигуре мальчика, выбравшего вечную весну духа взамен увядания плоти! Это гимн чистому детству, не запятнанному земной грязью, абсолютное торжество поэзии над убогой реальностью взросления...

В этот момент тишину бесцеремонно прервал хруст. На соседней аллее местный могильщик, потный и похмельный, шумно отхлебнул из полторашки пива, смачно сплюнул через выбитый зуб и громко высморкался в кулак.

Александра Сергеевна осеклась. Ее огромные, навываженные, совиные глаза сузились. Взгляд, способный прожечь дыру в бетонной плите, зафиксировал нарушителя. Филологический трепет испарился, как спирт на солнце. Стоя на своих крошечных ортопедических ботиночках 24-го размера, она снизу вверх посмотрела на завуча, и ее рот перекосялся в хищной ухмылке торговца контрабандным мясом.

– Господи, Ильич, какой же это все дистиллированный бред, – отчеканила она, резко сменив органичный регистр на скрипучий, злой альт. – Барри, конечно, гений, но сотворил он не сказочку для сопливых третьеклассников, а чистый, беспримесный триллер о клинической психопатии и дегенерации. А наши министерские дебилы суют это в список внеклассного чтения.

Она оперлась крошечной ручкой на зонт-трость, выглядя в этот момент как грозный, хоть и усохший втрое Бонапарт.

– Ты текст-то открывал, Ибломов? Своими глазами, а не через методичку для умственно отсталых? Питер Пэн – это же эталонный, рафинированный социопат. Мальчик, который не хочет взрослеть? Ха! Мальчик, у которого напрочь отсутствует эмпатия и долгосрочная память. Барри прямым текстом пишет: Питер забывает людей, как только они исчезают из поля зрения. Он прилетает к Венди, забирает ее детей, потому что саму Венди он уже ЗАБЫЛ. Прямо как некоторые забывают голову, когда приходят в школу. Для него люди – это одно-

разовая посуда. Он не взрослеет не потому, что он «чистый духом», а потому что его мозг застрял в фазе абсолютного, животного эгоцентризма. У него нет опыта, нет рефлексии, нет совести. Это же готовый диагноз для психиатрической экспертизы, а мы детям говорим: «Ах, посмотрите, как романтично он летает!».

Илья Ильич испуганно икнул и попытался вжать голову в плечи. Александра Сергеевна сделала два миниатюрных, но яростных шага вперед.

– А Неверленд? Это что, филиал рая? Это же тоталитарная коммуна, секта, где Питер – самопровозглашенный фюрер. Почитай внимательно, как он обходится с Потерянными Мальчиками. Там же черным по белому написано: когда мальчики начинают взрослеть, что противоречит правилам, Питер их «прореживает». Ильич, вдумайся в это слово! Он их убивает! Или выкидывает на корм пиратам, что монопенисуально. Малолетний карлик-диктатор держит в страхе остров, где казнят за проявление естественной биологии. Это же не просто девиантный лагерь, это чистый Стивен Кинг, Ильич! Помнишь его «Детей кукурузы»? Там этот малолетний сектант Исаак со своей бандой недорослей тоже «прореживал» всех, кто доживал до девятнадцати, во славу своего Обходящего Поля. Так вот, Кинг со своим кукурузным культом – жалкий плагиатор и щенок по сравнению с шотландским сказочником! Барри изобрел этот подростковый тоталитаризм на полвека раньше. Разница лишь в том, что у Кинга это честный хоррор, а у Барри – «золотой фонд мировой детской классики», который мы с умилением пихаем в неокрепшие детские мозги!

Она злобно хохотнула, отчего ее крошечные плечи затряслись.

– И вся эта шобла пубертатных девиантов держится исключительно на культе личности Питера, мать его, Пэна. Венди туда притащили зачем? Из нее делают бесплатную прислугу, кухарку и прачку для оравы невымытых сирот, а она, дура сублимирующая, рада стараться – играет в «мамочку». Там у всех стокгольмский синдром в терминальной стадии! А капитан Крюк? Единственный вменяемый персонаж во всей этой вакханалии. Джентльмен, выпускник Итона, человек с понятиями о чести и хорошем тоне. Да, пират. Но он – жертва изошренного, садистского преследования! Этот мелкий гаденыш Пэн отрубил Крюку руку и бросил ее крокодилу. Живьем! И после этого Крюк – злодей? Да он просто пытается выжить и сохранить остатки человеческого достоинства в мире, где летающая гнида со свирепой феей-содержанкой устраивают геноцид взрослого населения! Тинкер Белл – это же вообще отдельный туберкулез духа. Ревнивая, истеричная тварь, готовая убить любого, кто косо посмотрит на ее кумира.

Александра Сергеевна остановилась, тяжело дыша. На ее бледных, фарфоровых щеках выступил румянец. Она казалась титаном, запертым в сувенирной лавке. Его величество Текст был препарирован, скальпель филолога дошел до кости.

– Вот тебе и «детская сказочка», Ибломов, – подвела она итог, поправляя кружевную манжету, которая была ей слегка велика. – Книга о том, что отказ от ответственности, от взросления и от боли – это прямой путь к абсолютному, экзистенциальному злу. Напиши-ка это в плане открытого урока для третьих классов. Пусть наш директор подавится своим милым гуманизмом.

Она развернулась и стремительно, мелкими, но невероятно гордыми шагами направилась к выходу с кладбища. Илья Ильич, вытирая пот со лба, семенил следом, чувствуя, что после этой рецензии сказка его детства умерла и была закопана где-то здесь же, под вязом.

Платонов Андрей Платонович

За окном энской хрущевки стояла душная, липкая летняя ночь. Воздух замер, словно само время превратилось в густой кисель, сквозь который с трудом пробивался тусклый свет уличного фонаря.

На своем высоком стуле-постаменте неподвижно сидела Александра Сергеевна Пушкина. Девяносто сантиметров ее хрупкого, почти детского тела казались каменным изваянием. Лакированные туфли двадцать четвертого размера застыли в воздухе, а взгляд суровых, навывкате глаз был устремлен на раскрытый том, где корявым, шершавым шрифтом было набрано: «Андрей Платонов. Чевенгур».

– Какая неизбывная, сиротская тоска... – выдохнула она, и ее мощный, бархатный альт заставил зазвенеть хрустальные подвески на старой люстре. – Какое великое, страшное косноязычие праведника! Посмотрите, как этот воронежский пророк ломает, выворачивает суставы русскому языку, чтобы выжать из него каплю подлинной, неурбанизированной правды. Его герои не говорят – они мыслят веществом своего измученного тела. Это же плач по неродившемуся раю, метафизическая симфония социализма, где каждый кирпич омыт слезами безответной любви к человечеству...

Александра Сергеевна благоговейно прикрыла глаза. Правая рука ее, тонкая и изящная, нащупала на столе граненый стакан. Рядом стояла запотевшая бутылка теплой, дешевой водки – без этикетки, заткнутая свернутой в жгут газетой «Воронежская коммуна». Самый пролетарский, суровый напиток, пахнувший сивухой и безысходностью. Филологическая дева налила пятьдесят граммов, зажмурилась и одним махом опрокинула жидкость в глубь своего двадцатипятикилограммового организма.

Мир с грохотом раскололся. Стены однушки испарились, уступив место бескрайней, выжженной солнцем степи под серым, пыльным небом.

Александра Сергеевна пришла в себя на куче сухого глиняного грунта прямо посреди огромной ямы. Водка, как обычно, вышвырнула ее из времени. Пахло махоркой, потом, сырой землей и ржавым железом. Неподалеку, опершись на лопату, стоял худой, изможденный мужчина в засаленной брезентовой куртке и кепке. Его лицо, покрытое пылью, казалось высеченным из камня, а в умных, усталых глазах светилась бесконечная грусть. Это был Андрей Платонович Платонов (Климентов).

Пушкина брезгливо отряхнула со своей строгой юбки серую пыль, поправила шпильку в седом пучке и, не вставая с кучи грунта, посмотрела на писателя взглядом матерого ревизора. Весь ее филологический пафос растаял без следа.

– Ну что, Платонов, копаем? – сухо бросила она, зябко поведя крошечными плечами. – Все ищем вещество социализма в суглинке? Фундамент для общепролетарского дома закладываем?

Писатель медленно повернул голову, оглядел девяностосантиметровую гостью без удивления – в его мире и не такие странности случались – и тихо ответил:

– Человек должен трудиться. Чтобы тело его похудело, а мысль очистилась от тщетных иллюзий капитализма. Без котлована дома не построишь.

– Ой, прекрати этот производственный пафос, Андрей, – поморщилась Александра Сергеевна, поджимая короткие ножки. – Мы тут одни, цензуры из РАППа нет, Генрих Ягода за кустами не сидит. Давай честно: ты ведь самый изощренный, самый чернушный мазохист во всей советской литературе. Твой знаменитый «платоновский язык», над которым сегодня оргазмируют филологи во всем мире – это что? Это же не стиль. Это диагноз. Это язык человека, которого так сильно приложило обухом утопии по голове, что у него логические связи в мозгу перепутались. Ты взял великий, живой русский язык и кастрировал его канцелярщиной,

превратив в мертвый конвейерный фарш. «Жизнь без вести пропала», «тело спало в деревянной тишине»... Красиво? Нет, Андрюша. Это страшно. Это язык зомби, которые разучились чувствовать, но которым приказали маршировать в светлое будущее.

Платонов вздрогнул, пальцы его крепче сжали черенок лопаты:

– Я писал о душе класса. О людях, которые вышли из темноты и захотели обнять весь мир, да только руки у них мозолистые, грубые...

– Твои люди не мир хотят обнять, они хотят сдохнуть, чтобы больше не работать! – жестко перебила Пушкина, и ее маленький пальчик нацелился на писателя, как дуло пистолета.

– Давай препарируем твой «Чевенгур». Это же чистый, концентрированный дурдом, замаскированный под коммунистический рай. Твои чевенгурцы ведь работать не хотят. Они объявили, что труд – это буржуазный пережиток, и сидят, ждут, когда коммунизм сам вырастет из земли, как бурьян. А когда жрать становится нечего, они что делают? Правильно, вырезают всех «неполноценных» и буржуев. Какая потрясающая, циничная сатира на советскую власть! Ты показал, что весь ваш пролетарский рай держится на двух вещах: на тотальной лени и на массовых расстрелах ради красивой идеи.

– Я верил в революцию... – глухо произнес Платонов, глядя в землю.

– Верил он, – хмыкнула Александра Сергеевна, цинично усмехнувшись. – Ты был умным инженером-мелиоратором, ты прекрасно знал законы физики и природы. Но при этом с упорством обреченного тащил в литературу некрофилию. У тебя же в каждой повести труп на трупе! В «Котловане» маленькая девочка Настя – символ будущего – умирает прямо на куче земли, и ее хоронят в гробу из гранитных плит, как в персональном мавзолее. Ты похоронил будущее в самом начале строительства! Ты показал, что ваш великий СССР – это просто огромная братская могила, которую люди сами себе копают с песнями и транспарантами. И после этого ты удивлялся, что Сталин на полях твоей повести «Впрок» написал слово «сволочь»? Да Иосиф Виссарионович при всей своей жестокости был прагматиком, он твою метафизическую гниль за версту почуял! Ты же деморализовал строителей пятилетки похлеще любой западной разведки.

Платонов молчал. По его бледному лицу катился пот, смешиваясь с пылью.

– Ты гений депрессии, Андрей, – уже мягче, но с той же безжалостной прямоотой резюмировала Пушкина, гордо вскинув подбородок. – Твой цинизм тоньше, чем у Зоценко. Тот под дурачка косил, а ты прикинулся святым дурачком, юродивым от сохи. Ты вывернул наизнанку человеческую природу и показал: когда у нищего и глупого человека отнимают Бога и дают ему вместо этого циркуляр и лопату, он не становится творцом. Он становится несчастным, механическим роботом, который готов закопать в землю собственного ребенка ради параграфа в газете. Ты написал реквием по человечеству, а выдал его за производственный роман.

Она наклонилась, зачерпнула горсть сухой, колючей воронежской глины и омыла ею лицо.

Пространство схлопнулось с сухим шуршанием.

Александра Сергеевна заморгала. Она снова сидела в Энске, на своем высоком стуле. Лампочка тускло освещала пустой граненый стакан. За окном занимался бледный, немощный рассвет. Со страницы книги на нее смотрел грустный, усталый Андрей Платонов.

– И все-таки, как это написано... – прошептала она, бережно закрывая книгу и легко, словно пушинка, спрыгивая на пол. – Какой великий, мертвый язык. Завтра же заставлю одиннадцатый «Г» писать эссе по «Котловану». Пусть поймут, наконец, что если долго копать яму для чужого счастья, то фундаментом для нее всегда станут их собственные кости.

«Повесть о настоящем человеке», Борис Полевой

Летний вечер опускался на старое провинциальное кладбище, где среди покосившихся крестов и буйных зарослей сирени дремала сама вечность. Воздух, густой и неподвижный, был напоен ароматом прелой земли и молодой травы, а лучи заходящего солнца золотили верхушки вековых тополей, заставляя замолкнуть суетливые мысли.

По узкой, заросшей подорожником тропинке шла Александра Сергеевна Пушкина. Ростом она едва достигала пупка среднестатистического прохожего, а ее крошечные туфельки двадцать четвертого размера оставляли на влажной земле едва заметные следы.

Но в ее осанке, в царственном повороте головы и в том, как безупречно сидел на ее хрупких плечах строгий жакет, угадывалась колоссальная, почти пугающая внутренняя сила. Народный учитель России держала под руку своего бывшего ученика, ныне тридцатилетнего обрюзгшего инженера, который безмолвно нес за ней складной походный стульчик.

Они остановились у могилы какого-то земского врача позапрошлого века. Александра Сергеевна жестом приказала установить стул, величественно опустилась на него и устремила взор в блекнущее небо.

– Вы только вслушайтесь в эту тишину, голубчик, – произнесла она, и ее глубокий, бархатный альт, казалось, заполнил все пространство между надгробиями. – Именно здесь, среди безмолвных свидетелей человеческого увядания, обнажается истинное величие духа. Какая титаническая мистерия сокрыта в «Повести о настоящем человеке» Бориса Полевого! Это ведь не просто хроника военного подвига, основанного на реальных событиях, нет. Это симфония преодоления, где плоть человеческая, сия тленная, брэнная оболочка, пасует перед яростным, неопалимым пламенем абсолютной воли. Помните ли вы этот сакральный момент, когда Алексей Мересьев, брошенный судьбой в ледяной ад, ползет среди бездушных снегов? Вокруг него лишь безучастная природа, волки да хруст собственной сломанной жизни. Но внутри него горит священный огонь Прометея! Полевой создал не персонажа, он вылепил из букв и страдания – икону русского духа, перед которой хочется преклонить колени и безмолвно плакать от осознания собственной ничтожности...

В этот момент на дорожку с шумом вывалился местный маргинал в грязной майке, волочащий за собой ржавую ограду, явно похищенную с соседнего участка ради сдачи в металлолом. Мародер дико зыркнул на странную парочку, смачно сплюнул под ноги Александре Сергеевне и зашагал дальше.

Миниатюрная учительница проводила его ледяным взглядом. В ее огромных, умных глазах филологический трепет мгновенно выгорел, уступив место бездонному, как арктическая ночь, цинизму. Она поправила воротничок и повернулась к спутнику.

– Ну каков подонок, а? Впрочем, ничего нового, люди – это просто мешки с кишками и амбициями, которые даже дохнут безвкусно. Так вот, про Мересьева. Текст Полевого – это же гениальный сеанс коллективного садомазохизма, который нам продали как гимн гуманизму. Давайте снимем эти розовые школьные сопли и препарируем матчасть.

Александра Сергеевна закинула ногу на ногу, ее крошечная ступня едва качалась над травой, но инженер инстинктивно втянул голову в плечи.

– Нам сколько лет втирают про «триумф воли», а на деле мы имеем классический психоз на почве уязвленного эго. Мересьевым движет не патриотизм и не любовь к Родине, им движет первобытный, звериный страх оказаться бракованной деталью в советской индустриальной машине. Помните главу в госпитале? Там ведь лежит дед Михайло, лежат другие ампутанты, которые тихо, по-человечески принимают свою трагедию. Но Алешеньку корежит. Почему? Да потому что без самолета он – никто. Без железной птицы между ног его мужская и социальная идентичность равна нулю. Полевой прямым текстом пишет, как Мересьев смотрит на

балерину Олю и думает, что теперь он «калека» и она его бросит. Чувак дополз до своих не ради победы над фашизмом, а ради того, чтобы доказать девке, что его поршневая система все еще в рабочем состоянии.

Александра Сергеевна ядовито усмехнулась, опершись на свой зонтик-трость:

– Послушайте, голубчик, Пелевин в своем «Омон Ра» совершил блистательное, хирургически точное кощунство. Он взял этот наш священный симулякр и вывернул его мехом внутрь. В его Зарайском училище имени Маресьева курсантам ампутруют ноги превентивно, прямо на первом курсе, превращая штамповку «настоящих людей» в конвейерный госзаказ, а вместо фокстрота заставляют выплясывать на протезах «калинку» под угрозой расстрела. Это же упоительный гротеск: Пелевин просто домыслил советскую систему до ее логического финала, где государство решило не ждать, пока природа соизволит покалечить героя, а само залезло в человека с ножовкой, чтобы сэкономить дефицитное пространство в кабине и сделать биоробота идеально совместимым с приборной панелью.

Она жестко усмехнулась, достав из сумочки крошечный носовой платок, пахнущий лавандой.

– Но вернемся к тексту Полевого. Там есть комиссар Воробьев. Это же чистый, рафинированный манипулятор высшей категории! Вместо того чтобы дать парню спокойно адаптироваться к новой реальности, этот умирающий святоша начинает ювелирно давить на гнилые места. Он подсовывает ему статью про дореволюционного летчика Карповича, у которого тоже не было ног. Это же классический прием абьюзивного коучинга! «Смотри, сука, до тебя один смог, а ты что, тряпка?». Комиссар прекрасно понимает, что Мересьев – нарцисс. И он ловит его на слабо. Вся палата превращается в тоталитарную секту, где каждый соревнуется, кто красивее сдохнет за общее дело.

Александра Сергеевна встала со стульчика. Ростом она была с могильный камень, но инженеру казалось, что перед ним выросла тень Мефистофеля.

– И самый сок – это финал, эти проклятые танцы на протезах! – ее голос зазвенел сталью. – В учебниках пишут: «Какое мужество, он танцует фокстрот, преодолевая боль!». Господи, да это же чистый медицинский триллер! Человек с кровавыми мозолями, раздирая в мясо культы, топчется перед медкомиссией, чтобы эти старые хрычи в халатах поставили ему штамп «годен». Зачем? Чтобы снова сесть в фанерный гроб и поймать лицом зенитный снаряд. Это не триумф духа над плотью, голубчик. Это триумф государственной целесообразности над здравым смыслом. Полевой показал нам идеального солдата. Отрежь ему руки – он будет нажимать на гашетку зубами. Отрежь голову – туловище продолжит выполнять приказ по инерции. И самое страшное, что миллионы советских граждан читали это и плакали от умиления, мечтая так же красиво лишиться конечностей ради одобрительного кивка начальства. Потрясающая, эталонная вивисекция человечности под видом подвига.

Она замолчала, аккуратно сложила платок и посмотрела на заходящее солнце.

– Какое великое искусство, – тихо, со слезой в голосе резюмировала она, снова возвращаясь к своему благодному тону. – Как тонко автор уловил эту бездонную, пугающую готовность русского человека превратить собственное тело в дрова для костра великой идеи... Ну что ты стоишь как истукан? Забирай стул, пошли отсюда. Скоро роса выпадет, а у меня от сырости суставы крутит.

«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», М. Салтыков-Щедрин

Сентябрьский вечер угасал над провинциальным N-ском, размывая контуры облупившихся хрущевок и кутая в сиреневую дымку чахлые тополя. Воздух, густой и неподвижный, дышал предчувствием скорой осени, когда земля смиренно готовится к увяданию.

В кабинете русского языка и литературы, отрезанном от суетного мира, царил священный сумрак, нарушаемый лишь мерным тиканьем настенных часов. За колоссальным, как утес, дубовым столом восседала Александра Сергеевна Пушкина. Народный учитель Российской Федерации, чей филологический гений угадывался в каждом движении тонких пальцев, бережно перелистывала пожелтевшие страницы.

Из-за монументальной стопки тетрадей виднелась лишь ее благородная голова с идеальным пучком седых волос. Природа, обделив ее плотью – Александра Сергеевна едва достигала отметки в девяносто сантиметров, – с лихвой компенсировала это титаническим масштабом духа. Она казалась ожившей деталью ампирного барельефа, случайно заброшенной в эпоху пластика.

Перед ней, съезжившись на первой парте, сидел Вовочка Дермович – гроза школы, двоечник и обладатель кулаков размером с хорошую дыню. Он был оставлен после уроков за то, что пытался скурить гербарий в кабинете биологии.

– Посмотри в окно, Дермович, – тихо, с неизбывной нежностью в голосе произнесла Александра Сергеевна. Ее контральто вибрировало, заполняя класс матовой, бархатной глубиной. – Какая акварельная грусть. Именно в такие часы Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, великий мученик русской мысли, опускал перо в чернильницу со слезами на глазах. Повесть о двух генералах... О, это не просто сатирическая сказка, мой юный, неотягощенный интеллектом друг. Это симфония боли. Это плач пророка о невыразимой, хрупкой красоте русской души, заточенной в узы сословных условностей. Какое благородство слога! Какая пронзительная, хтоническая тоска по утраченному раю, где человек человеку – брат, а не господин. Ты чувствуешь эту сакральную вертикаль духа, Дермович?

Вовочка тупо моргнул и шмыгнул носом. В этот момент от порыва ветра с подоконника с грохотом сорвался толстый классный кактус, горшок разлетелся вдребезги, засыпав землей свежевывмытый пол.

Взгляд Александры Сергеевны мгновенно заledenел. Мягкая дымка девятнадцатого века испарилась, уступив место удушливой атмосфере привокзального вытрезвителя. Она легко, одним бесшумным движением соскользнула со своего огромного стула, оказавшись на полу. Снизу вверх она посмотрела на одиннадцатиклассника так, словно была трибуналом, а он – безбилетником в вагоне для смертников.

– Короче, Дермович, забудь ту чушь, которую втирал твой педагог в шестом классе про «угнетение бедных крестьян», – отрезала она, и ее голос зазвучал как удар кастета по зубам. – Салтыков-Щедрин написал не гимн угнетенным. Он написал эпитафию конченной, терминальной деградации, который у нас почему-то называют «народной мудростью». Сядь нормально, не горбись, ты и так похож на неандертальца в период спаривания.

Она прошла мимо парты. Шаги ее были короткими, но ментальное давление было таким, будто по классу катился гусеничный танк.

– Давай разберем этот цирк с конями по косточкам, – Александра Сергеевна оперлась маленькой ручкой о край парты, ее глаза сузились. – Попали два престарелых паразита на остров. Номенклатурные трутни, которые искренне верят, что булки растут на деревьях в готовом виде. Они беспомощны, как новорожденные котята в ведре с водой. И тут появляется

Мужик. В школьных учебниках принято умиляться: «Ах, какой умелец! Ах, какой самородок! Из собственных волос силок сделал, рябчика поймал!». Дермович, включи свои три с половиной извилины. Этот «самородок» – клинический мазохист с ампутированным чувством собственного достоинства. На острове царит изобилие. Еды – завались. Эти два тюленя в ордемах физически не способны причинить Мужiku вред. Они его даже догнать не смогут, у них одышка от первого же шага! У Мужика в руках все карты: абсолютная свобода, ресурсы, физическое превосходство. Что делает этот венец рабской эволюции?

Она сделала паузу, ее крошечный кулак с силой опустился на парту, заставив Вовочку вздрогнуть.

– Он добровольно идет в рабство к двум ходячим трупам! Он не просто их кормит, он им прислуживает. Но финальный аккорд этой трагикомедии – это апофеоз рабского БДСМ. Помнишь деталь, от которой у методистов случается экстаз? Мужик сам, своими руками, вьет веревку, чтобы генералы его этой самой веревкой ночью к дереву привязали. Чтобы не убежал! Это же чистый, неразбавленный стокгольмский синдром, возведенный в абсолют. Мужiku физически плохо, если у него нет хозяина. Его корежит от свободы, как вампира от святой воды. Ему жизненно необходимо, чтобы кто-то сидел на его шее и лениво попердывал в сторону горизонта.

Александра Сергеевна прошла к разбитому кактусу, брезгливо пнула носком туфли кусок глины и повернулась к замершему ученику.

– А финал? Это же просто песня. Привезли они его обратно в Петербург. Генералы нагребли денег в казначействе, выпили за здоровье русского воинства и... цитирую первоисточник: «выслали мужiku рюмку водки да пятак серебра: веселись, мужичина!». И как ты думаешь, Дермович, Мужик оскорбился? Бросил этот пятак им в зажавшиеся хари? Нет. Он эту водку выпил, пятаком закусил и пошел дальше землю пахать, счастливый до соплей. Салтыков-Щедрин препарировал антропологическую катастрофу: абсолютную генетическую неспособность среднего человека жить без плетки. Мужик у него – не герой. Он соучастник преступления против самого себя. Ему дали шанс стать личностью, а он предпочел остаться хорошо обученной служебной собакой.

Она по-кавалерийски запрыгнула обратно на свой огромный стул, мгновенно вернув лицу выражение строгой иконописной святости. Воздух в классе снова потеплел.

– Таким образом, Дермович, – завершила она, аккуратно закрывая книгу, – великий сатирик наглядно продемонстрировал нам, что рабство – это не внешние цепи. Это внутренний выбор. Дома напишешь эссе на тему «Пятак как эквивалент человеческого достоинства». А сейчас возьми веник, убери кактус и иди отсюда. Твой экзистенциальный вакуум начинает портить мне карму.

«Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем», Н. Гоголь

Майское солнце стояло в самом зените над бесконечными, усыпанными одуванчиками просторами загородного песчаного карьера, куда занесло Александру Сергеевну Пушкину в поисках абсолютного уединения. Воздух, густой и дрожащий от зноя, казался налитым жидким золотом; внизу, на самом дне исполинской земляной чаши, лениво ворочался тяжелый экскаватор, похожий отсюда, с крутого обрыва, на доисторического жука.

Народный учитель Российской Федерации восседала на раскладном брезентовом стульчике, который в ее масштабах выглядел как монументальный трон. При росте в девяносто сантиметров и весе едва ли в четверть центнера, эта маленькая женщина умудрялась подчинять себе окружающее пространство одним лишь разворотом хрупких плеч. На ней было строгое шелковое платье цвета грозовой тучи, а крошечные пальцы, увенчанные фамильным перстнем, бережно баюкали пожелтевший том Николая Васильевича Гоголя.

– Какая неизбывная, какая святая тоска разлита в этих страницах, – негромко произнесла Александра Сергеевна, обращаясь к сидевшему рядом на траве молодому коллеге-историку Коле Черезкуяченко, который увязался за ней ради «умной беседы» на природе. Голос ее, на удивление глубокий, бархатный, грудной, плыл над карьером, заглушая стрекот цикад. – Вы только вслушайтесь, голубчик, в эту божественную симфонию малороссийского быта. Какой пасторальный покой! Какое величие духа в этой первозданной, догреховной тишине Миргорода. Гоголь здесь выступает не просто как бытописатель, но как демиург, оплакивающий потерянный рай человеческой искренности. Иван Иванович и Иван Никифорович – это ведь не просто обыватели. Это сиамские близнецы славянской души, чистые, аки агнцы Божии, пребывающие в абсолютной гармонии с миром и друг с другом. Их дружба – ветхозаветный эталон, гимн бескорыстию, где один дополняет другого, как левая рука дополняет правую. Безупречный космос, где даже бекеша Ивана Ивановича кажется покровом святости...

В этот момент внизу, у карьера, с оглушительным лязгом сорвался трос экскаватора. Молодой историк вздрогнул, а Александра Сергеевна даже не моргнула. Медленно повернув голову, она проводила взглядом матерящегося машиниста, затем посмотрела на свои крошечные туфли, едва доставшие до травы, и лицо ее мгновенно утратило выражение пасторального экстаза. Глаза превратились в две холодные щели.

– Господи, какой же клинический бред нам приходится втирать этим несчастным семиклассникам, – ледяным тоном произнесла она, резко захлопнув книгу, отчего поднялось маленькое облачко пыли. – «Ветхозаветный эталон»... Тьфу. Давай снимем эти филологические кружева, Коленька, и поглядим на гоголевский Миргород без соплей. Это же не повесть о дружбе, это подробная история болезни двух дегенератов в терминальной стадии духовного маразма. Гоголь – гений, потому что он первый описал, как абсолютное безделье и сытость превращают хомо сапиенса в злобное, мстительное желе.

Историк Черезкуяченко испуганно сглотнул, а Пушкина, поправив крошечный воротничок, продолжила с нарастающим циничным упоением:

– Давай препарируем этих «чистых агнцев». Кто такой Иван Иванович? Это же эталонный, патентованный нарцисс и душный манипулятор. Вспомни, как Гоголь описывает его благодетельность: он же нищему ни копейки не даст просто так! Он его сначала расспросит, зачем тот пришел, поглумится, заставит унижаться, а потом скажет: «Ну, ступай с Богом». Это чистой воды садизм, завернутый в обертку христианского милосердия. А его знаменитая бекеша? Это не одежда, это его суррогат личности. Уберите бекешу – и там останется пустое место, зияющая дыра.

Она перевернула страницу, презрительно хмыкнув.

– И вот этот пустозвон дружит с Иваном Никифоровичем. Который, на минуточку, представляет собой просто гору жира, лежащую весь день в корыте. Полная атрофия не то что интеллекта – базовых человеческих рефлексов. Единственное его ментальное проявление – это страсть к коллекционированию всякого хлама. И вот сходятся две одинокие психопатологии. Их «великая дружба» держалась исключительно на том, что им обоим было лень искать другие уши для слива своего ментального недержания.

Александра Сергеевна встала со стульчика. Из-за своего роста она казалась со стороны рассерженной куклой, но Черезкуяченко невольно вжал голову в плечи – ментальное давление этой крохи было физически ощутимым.

– И тут появляется ружье, – Пушкина хищно улынулась. – Зачем Ивану Ивановичу ружье? Он стрелять умеет? Нет, он птицу боится убить. Ему нужно ружье, потому что оно есть у соседа. Это же чистая, незамутненная зависть трехлетнего ребенка в песочнице. А как реагирует Иван Никифорович на просьбу подарить или обменять его на бурую свинью? Он называет друга «гусак». Коленька, ты понимаешь всю глубину трагедии? Одно-единственное слово мгновенно разрушает сорокалетний миф о родстве душ. Почему? Да потому что никакой души там и не было. Была эгоистическая сделка двух паразитов.

Она прошлась по краю обрыва, заложив маленькие руки за спину.

– И дальше начинается самый сок, который в школе стыдливо называют «судебной тяжбой». Это не тяжба, это парад мелкого, гнилого человеческого тщеславия. Иван Никифорович строит гусиный хлев, чтобы оттяпать кусок земли и подгадить соседу. Иван Иванович в ответ подпиливает столбы ночью, как портовая крыса. Они тратят лучшие годы, остатки разума и все свои сбережения на судейских крючкотворов. Зачем? Чтобы доказать, кто из них худшее ничтожество. Гоголь с хирургической точностью показывает: у этих людей нет внутреннего стержня. Их существование обретает смысл только тогда, когда появляется объект для ненависти. Без этой вражды они бы просто сгнили от скуки в своих усадьбах, а так – у них появилась великая миссия: насрать на порог ближнему своему.

Александра Сергеевна остановилась, посмотрела на бескрайнее небо и тихо, без прежней злости, но с бесконечным презрением резюмировала:

– «Скучно на этом свете, господа!» – вот финал. И скучно не потому что мир плох, а потому, что люди в массе своей – это Иваны Ивановичи и Иваны Никифоровичи. Стоит им дать тепло, безопасность и избыток калорий, как они тут же начинают жрать друг друга из-за ржавого ружья и слова «гусак». Вот она, истинная изнанка человеческой природы, мой дорогой историк. Ладно, собирай манатки. Солнце припекает, а мне еще завтра этим дегенератам из седьмых классов объяснять, почему Гоголь – великий гуманист.

«Поднятая целина», Михаил Шолохов

Летнее солнце нещадно плавило растрескавшийся асфальт на конечной остановке пригородного автобуса, где пахло мазутом, пыльной пылью и начавшими созревать арбузами. Редкие пассажиры укрывались в жидкой тени ржавого навеса, лениво отмахиваясь от наглых мух. Среди этого унылого провинциального зноя, на перевернутом деревянном ящике из-под капусты, неподвижно и прямо, словно фарфоровая статуэтка, сидела Александра Сергеевна Пушкина.

Ее крошечные ножки в безупречных белых носочках и лакированных туфельках двадцать четвертого размера аккуратно свисали со своего импровизированного пьедестала. Природа, обделив ее ростом, – в ней было всего девяносто сантиметров от подошв до макушки и двадцать пять килограммов живого веса вместе с зимним пальто, – с лихвой компенсировала это поистине грозным ментальным масштабом. Народный учитель РФ, обладательница колоссального, хрустально чистого филологического ума, она держала в страхе не только старшеклассников, но и городское управление образования.

В ее крошечных, похожих на птичьи лапки кистях был зажат томик Михаила Шолохова. Она благоговейно поглаживала обложку, устремив взор огромных, мудрых глаз куда-то поверх унылых крыш хрущевки.

Рядом, обливаясь потом и шумно дыша, сидел на корточках заезжий молодой методист из области, волею судеб застрявший с ней в ожидании транспорта.

– Вы только вчитайтесь, молодой человек, в эти строки, – пропела Александра Сергеевна, и ее на удивление глубокий, бархатный альт заставил методиста вздрогнуть. – Какой величавый, библейский зачин! Шолохов – это же Гомер советской степи. Как упоительно пахнет у него донская земля, обожженная солнцем, как дышит Гремячий Лог! Автор поднимается до вершин истинного, античного трагизма. Всмотритесь в этот грандиозный, тектонический сдвиг народной души, в это великое и мучительное рождение нового мира из первозданного хаоса. Какая сакральная жертвенность, какая святая, почти запредельная вера в грядущее счастье человечества звучит в каждом слове Давыдова, Нагульнова, Разметнова! Это не просто роман, это священный реквием по старой Руси и торжественная литургия новой зари...

В этот момент к остановке с оглушительным скрежетом подкатил облезлый, грязный ПАЗик. Двери с шипением распахнулись, и из недр автобуса повалила толпа дачников с кривыми саженцами, вонючей рыбой в пакетах и потными рюкзаками. Александра Сергеевна брезгливо прикрыла нос кружевным платочком, дождалась, пока утихнет гвалт, прыгнула с ящика с легкостью воробья и, обернувшись к методисту, резко изменилась в лице.

Ее благостный пафос испарился, глаза сузились, а голос приобрел леденящую, бритвенную остроту.

– Впрочем, если содрать с этой «Целины» идеологическую позолоту, милый мой, то перед нами откроется потрясающая в своей мерзости клиническая картина массового психоза, паранойи и бытового кретинизма, – отчеканила она, легко семеня за методистом в салон. – Садитесь, юноша, и слушайте, чему вас не научат в вашем кастрированном пединституте.

Они устроились на заднем сиденье. Александра Сергеевна, чей затылок скрывался далеко за нижней линией спинки кресла, казалась обиженным ребенком, но от ее взгляда методисту захотелось провалиться сквозь гнилой пол автобуса.

– Давайте препарируем этих ваших «героев новой зари», – цинично усмехнулась она, закинув ногу на ногу. – Кто такой Семен Давыдов? Нам его подадут как святого мученика, пролетария. А на деле это классический питерский люмпен с двадцатипятилетним мандатом, который в гробу видал и эту землю, и этих людей. Он же в сельском хозяйстве смыслит меньше, чем я в баскетболе. Приехал в чужой монастырь со своим уставом, уселся в правле-

нии и давай ломать об колено вековой уклад мужиков, которые эту землю столетиями горбом пахали. Его «гениальный» менеджмент – это отобрать у людей последнюю скотину, свалить ее в общие базы, где половина коров дохнет от бескормицы и чесотки в первые же недели. А как он решает проблемы? Чисто по-абыюзерски. Помните эпизод с бабьим бунтом, когда его женщины лупят? Он же упивается своей ролью жертвы! Хрипит: «Бейте, мол, советскую власть!» Это не доблесть, милый мой, это латентный мазохизм и полная профнепригодность управленца. А его личная жизнь? Мечется между потасканной Лушкой и несовершеннолетней Варей. Мужчине под тридцать, а у него эмоциональный интеллект как у табуретки.

Автобус тряхнуло на колдобине. Александра Сергеевна даже не шелохнулась, прочно удерживая равновесие своим крошечным центром тяжести.

– А Макар Нагульнов? – продолжила она, и в ее голосе зазвучал откровенный яд. – Да это же готовый пациент для психиатрической клиники с тяжелой формой шизофрении и параноидального синдрома. Человек ночами учит английский язык, чтобы беседовать с британскими лордами после мировой революции! Вы только вдумайтесь в этот градус шизофазии! Он спит и видит, как пустит под нож половину Гремячего Лога ради призрачного «мирового пожара». Когда Давыдов пытается хоть как-то включить логику, Нагульнов орет, что ради революции надо уничтожать детей кулаков. Это не партийный деятель, это чистокровный, рафинированный маньяк-психопат, которому просто легально выдали наган. И Шолохов, сознательно или нет, гениально выписывает эту изнанку: Нагульнов импотентен как мужчина – Лушка от него гуляет со всем хутором, – и всю свою нереализованную сексуальную энергию он сублимирует в насилие и фанатизм. Ему не колхоз нужен, ему нужно, чтобы все горело синим пламенем, потому что внутри у него – выжженная пустыня.

Методист испуганно огляделся на дремавших дачников, но Александра Сергеевна только прибавила громкости.

– Вишенка на этом навозном пироге – Андрей Разметнов. Председатель сельсовета. Этот вообще классический приспособленец с синдромом выученной беспомощности. То он плачет над выселяемыми кулацкими детьми, потому что у него «жалость внутри колыхнется», то идет и спокойно грабит этих же соседей. Его предел мечтаний – пострелять голубей из рогатки, чтобы они, видите ли, чужое зерно не клевали. Мелкий, трусливый человечек, который пытается усидеть на двух стульях: и перед начальством выслужиться, и перед хуторянами остаться «своим парнем».

Александра Сергеевна брезгливо сморщила крошечный носик:

– Но хуже всего, милый мой, это то, как Шолохов пытается заставить нас смеяться там, где нужно плакать и креститься. Я говорю о деде Щукаре. Нам его сто лет продают как главного комического персонажа, эдакого милого народного чудака, дедушку-весельчака. Боже, какая чудовищная слепота!

Она заглянула методисту прямо в душу своими огромными, немигающими глазами.

– Дед Щукарь – это же чистокровный, дистиллированный паразит и социальный трутень. Хрестоматийный пример кастрации мужского начала и деградации казачества. Человек за всю свою долгую, никчемную жизнь не сделал абсолютно ничего полезного. Помните, как он варит кашу с лягушкой? Весь хутор над ним хохочет, а ведь это клиническая картина бытового идиотизма и полной санитарной дремучести. Он крадет чужого гусака, врет как дышит, патологически ленив и труслив. Жenuшка бьет его смертным боем, и поделом! Но самый цинизм в том, что этот старый дурак становится... официальным кучером правления колхоза! То есть власть приближает к себе не толкового работягу, а самого нищего, глупого и безответственного бездельника, просто потому что он «классово близкий». Щукарь – это символ новой советской интеллигенции Гремячего Лога. Он выучил из словаря умное слово «монополия» и сует его куда попало, совершенно не понимая смысла. Это же готовый образ идеального избирателя, Шариков на пенсии! И когда в финале этот старик искренне оплакивает Нагульнова с Давыдо-

вым, он плачет не по друзьям. Он плачет по своей халяве. Он понимает, что лафа закончилась, кормить за красивые глаза его больше некому, а работать он физически разучился еще при царском режиме.

Она захлопнула томик Шолохова с сухим, как выстрел, звуком.

– Знаете, в чем истинный, не плакатный ужас этой книги? Шолохов, сам того не желая, показал, как кучка фанатиков, психопатов и некомпетентных придурков уничтожила цветущий край. Они ведь искренне верили, что творят благо. Они пустили в расход Фрола Дамаскова – человека, который пахал от зари до зари, у которого руки были как узловатые корни. Его вина лишь в том, что он умел работать и не хотел отдавать нажитое лодырям. И вот эти три калеки – мазохист, импотент-шизофреник и слабовольный дурачок – загнали трудовой народ в стойло. А финал? Финал – это апофеоз шолоховского цинизма. Давыдова и Нагульнова убивают. И автор преподносит это как великую трагедию. А на самом деле земля просто очистилась от паразитов, которые не умели ничего, кроме как отнимать и делить. Оставшийся в живых Разметнов смотрит на могилы и думает о будущем. О каком будущем, господи? О том, где не осталось никого, кто умеет пахать, зато плодятся те, кто умеет писать доносы.

Автобус затормозил у пыльной обочины. Александра Сергеевна поднялась, поправила крошечный воротничок своей блузки и посмотрела на совершенно бледного методиста сверху вниз – хотя физически это было невозможно.

– Вот вам и «Поднятая целина», голубчик. Великая книга о том, как дураки и маньяки испортили генофонд великой страны. А вы говорите – «новая заря»... Филологию нужно учить с трезвой головой, а не с партийным билетом в кармане.

Она развернулась и с царственной грацией, высоко подняв голову, вышла из автобуса. Ее крошечная фигурка мгновенно растворилась в мареве знойной провинциальной пыли, оставив методиста наедине с оглушительной, пугающей пустотой шолоховского текста.

«Подросток», Ф. Достоевский

Сентябрьское солнце цедило сквозь засиженные мухами стекла кабинета русского языка и литературы жидкий, как столовский чай, янтарный свет. На третьей парте у окна шевелилось нечто аморфное: Зоя Плядштейн и Лена Патаскунова, две грации местного разлива, лениво переругивались в мессенджере, оспаривая мифическую верность одиннадцатиклассника с параллели. Десятый класс, состоящий преимущественно из будущих завсегдатаев биржи труда и гениев блогерства, пребывал в анабиозе.

Над массивным дубовым столом, возвышаясь над полированным деревом ровно на тридцать сантиметров, да и то благодаря специальному стулу-трансформеру, замерла Александра Сергеевна Пушкина. Девяносто сантиметров абсолютного, концентрированного величия, увенчанного безупречным седым шиньоном.

Два ордена «За заслуги перед Отечеством» IV и III степеней и звание Народного учителя РФ защищали ее как броня. Ее крошечные ножки в ортопедических туфлях двадцать четвертого размера не доставали до пола, но ментальная тень, которую эта женщина отбрасывала на аудиторию, заставляла даже стокилограммового хулигана Рустама Ховнопузова втягивать голову в плечи.

Она раскрыла томик с тисненым профилем Федора Михайловича Достоевского. Голос ее, глубокий, бархатный, неожиданно грудной альт, поплыл над партами, заставляя воздух вибрировать от благоговения.

– Господа, – выдохнула Александра Сергеевна, и класс инстинктивно затих, замороженный этим звуком, – мы открываем величайшее, незаслуженно затененное остальными романами «Пятикнижия» полотно. Роман «Подросток». О, это тончайшая симфония созревающей души! Какое благородство замысла, какая хрустальная, мучительная нежность в исследовании первых шагов юноши в мире, где вера колеблется, а капитал еще не обрел лица. Аркадий Долгорукий – этот чистый, трепетный побег, тянущийся к свету сквозь навозную жижу петербургских трущоб. Его «идея» стать Ротшильдом – не пошлое стяжательство, нет! Это сакральный щит одинокого сердца, попытка обрести гордую автономию, защитить свою святую изоляцию от гнойных язв общества. А Версиков? О, этот трагический титан, расколотый надвое, ищущий и не находящий искупления... Это апофеоз русской тоски по утраченному раю, где каждый вздох – молитва, а каждое падение – шаг к Голгофе...

В этот момент тишину разорвал оглушительный, сочный звук. Рустам Ховнопузов, доедавший под партой шаурму, неосторожно сжал лаваш, и на его новые джинсы вывалился жирный комок майонезно-чесночного соуса.

Александра Сергеевна замолчала. Медленно, с грацией карманного сфинкса, она повернула голову. Ее крошечные пальцы, унизанные старинными кольцами, с тихим стуком легли на стол. Интеллигентный пафос дематериализовался, оставив после себя сухой, леденящий реализм.

– Ховнопузов, – тихо, но отчетливо произнесла она, и соус на джинсах хулигана, казалось, застыл от ужаса. – Твоя утробная невозмутимость идеально рифмуется с тем бредом, который вы, стадо пубертатных приматов, привыкли читать в кратких содержаниях. Забудьте то, что я сейчас сказала. Протрезвейте.

Она легко, одним движением, прыгнула со стула на специальную подставку, чтобы класс видел ее лицо – суровое, с глазами старого инквизитора.

– Давайте снимем с этого текста благочестивые сопли, – отчеканила Александра Сергеевна. – Что нам подсовывает Федор Михайлович под видом «диалектики души»? Хрестоматийную историю о том, как девятнадцатилетний дегенерат с синдромом дефицита внимания пытается оправдать собственную лень и убожество. Аркадий Долгорукий – это не «трепетный

побег». Это эталонный, дистиллированный инфантил и социальный вуайерист своего времени. Чего он хочет? Стать Ротшильдом. Как? Копить гроши и голодать. Seriously? Чувак всерьез высчитывает в блокнотике, как он сэкономит на копеечной каше и завоюет мир. Это уровень финансовой грамотности Лены Патаскуновой, которая надеется разбогатеть на раскрутке аккаунта с котиками.

Зоя Плядштейн тихо хмыкнула, но под взглядом Пушкиной сдулась.

– Но бог с ней, с экономикой, – продолжила учительница, расхаживая по классу. Ростом она едва доставала до уровня парт, но казалось, что она взирает на десятиклассников сверху вниз. – Посмотрите на его психологический портрет. Парень одержим своим биологическим папашей, Версиловым. Версилов – стареющий альфонс, нарцисс и профессиональный бездельник, который профукал три состояния, ломает жизни бабам и красиво страдает под виолончель. И наш Аркаша, вместо того чтобы плюнуть на этого старого паразита, пускает по нему слюни. «Ах, папенька на меня посмотрел! Ах, папенька взял меня за руку!». Это же чистый, неразбавленный комплекс неполноценности.

Она остановилась у парты Ховнопузова, который замер с куском шаурмы в руке.

– Весь сюжет романа держится на «документе». Бумажка, зашитая в подкладку кармана. Аркадий бежит с ней как дурак с писаной торбой. Зачем? Чтобы шантажировать Катерину Николаевну. Женщину, в которую он якобы тайно и возвышенно влюблен. Каков романтик, а? Желает макнуть любимую женщину лицом в грязь, чтобы она приползла к нему на коленях. Чистой воды абьюз и домашнее насилие в зародыше. Он же импотент – моральный и социальный. Он не способен на поступок, он способен только подслушивать за портьерами, собирать сплетни и устраивать истерики в номерах.

Александра Сергеевна горько усмехнулась, коснувшись рукой подбородка.

– Достоевский гениален в одном: он описал рождение нового типа русского человека – «подпольного» придурка, который сидит в углу, исходит желчью от собственной ничтожности, но считает себя мессией. Аркадий постоянно твердит: «Я уйду в свой угол». Да иди, господи! Кому ты нужен? Весь роман – это хроника того, как патентованные эгоисты жрут друг друга. Мать Аркадия, Софья – ходячий памятник мазохизму, которая терпит измены Версилова просто потому, что ей нравится страдать. Крафт стреляется оттого, что «русская нация – второстепенная». Какая драма! На самом деле у парня была обычная клиническая депрессия, которую он завернул в красивую обертку.

Она вернулась к столу и легко запрыгнула обратно на стул. Поправила манжеты. Наступила мертвая, звенящая тишина. Даже Ховнопузов забыл, как жевать.

– Вот вам и «Подросток», господа, – резюмировала Александра Сергеевна, и в ее глаза снова вернулся холодный блеск филологического ума. – Великий роман о том, как опасно давать волю мыслям существам, не научившимся вытирать сопли. Федор Михайлович препарировал человеческую шкуру и показал, что внутри там – гной, тщеславие и глупость. И никакая красота этот мир не спасет, потому что мир ее тупо сожрет и не поморщится. Запишите тему домашнего сочинения: «Эгоизм как движущая сила духовных исканий Аркадия Долгорукого». И не дай вам бог списать из Интернета фразы про «светлую душу». Я лично устрою вам филиал подполья. Вопросы?

Вопросов не было. Класс сидел, боясь вздохнуть под надзором девяностосантиметрового титана русской словесности.

«Поединок», А. Куприн

Майское солнце в провинциальном городе N не радовало, а скорее разоблачало. Оно безжалостно обнажало облупившуюся штукатурку на фасаде школы, многолетнюю пыль на лепных карнизах кабинета русского языка и литературы и унылую серость одиннадцатого «Г».

За окном шумели тополя, нагоняя дремоту, и класс, представлявший собой психологическую выставку юношеской апатии и гормонального буйства, медленно погружался в летаргию. Задние парты оккупировали девицы с лицами суровыми и накрашенными, чьи ментальные горизонты ограничивались стримами фриков. На переднем фланге лениво ковырял прыщ признанный школьный хулиган Стас Копровский.

Над этой пустыней духа возвышалась – исключительно метафизически – Александра Сергеевна Пушкина.

Физически же Народный учитель РФ едва достигала девяности сантиметров от пола. Чтобы класс вообще ее видел, она сидела на барном, обитом потертым бархатом стуле. На нем Александра Сергеевна, весившая ровно двадцать пять килограммов, казалась фарфоровой статуэткой эпохи ампира. В ее крошечных ручках, однако, таилась сила, способная согнуть в бараний рог любого проверяющего из облоно, а ее колоссальный филологический ум заставлял трепетать даже директора школы.

Она поправила тяжелые очки в роговой оправе, которые казались огромными на ее детском лице, и обвела класс взглядом старого, умудренного опытом коршуна.

– Господа, – голос Александры Сергеевны, на удивление глубокий, сочный альт, поплыл над партами, подражая тягучему, панорамному слогу великих прозаиков позапрошлого столетия. – Сегодня мы открываем страницу пронзительную, омытую слезами истинного гуманизма. Александр Иванович Куприн. Его «Поединок» – это не просто повесть об армейских буднях. О нет! Это симфония увядания человеческой души в тисках провинциальной пошлости. Это трагический гимн чистой, неоперившейся мысли, задохнувшейся в смраде гарнизонного бытия. Вспомните, как трепетно автор живописует душевные терзания подпоручика Ромашова. Какая тонкая, пастельная акварель чувств! Какая бездонная, почти космическая тоска по идеалу, по чистой, неземной любви к Шурочке – этому светлому ангелу среди провинциального болота...

Класс привычно затих, замороженный этим филологическим пафосом. Даже Копровский перестал терзать свой прыщ. В воздухе запахло чистым искусством, высокими идеалами и катарсисом.

В этот момент тишину кабинета бесцеремонно нарушил утробный, неприличный звук. Это как раз у Копровского от голода или скуки громко и раскатисто заурчало в животе.

Александра Сергеевна замолчала. Ее крошечные пальчики с безупречным маникюром медленно опустились на корешок книги. Лицо, только что светившееся благостным пиететом, мгновенно окаменело. Взгляд за стеклами очков сузился до размеров бритвенного лезвия. Ментальный масштаб этой девяностосантиметровой женщины внезапно заполнил всю комнату, прижав одиннадцатиклассников к спинкам стульев.

– Копровский, – сухо, без малейшего пафоса произнесла она, и стиль ее речи обдал класс арктическим холодом. – Твой кишечник сейчас выдал куда более честную рецензию на русскую классику, чем все методички министерства образования. Впрочем, к черту пастельные акварели. Давайте снимем розовые сопли и препарируем этот ваш «Поединок» так, как он того заслуживает.

Она оперлась крошечными ручками о стол и наклонилась вперед.

– Принято считать, что Ромашов – это жертва системы, тонкий интеллигент, которого сожрала тупая армейщина. Чушь собачья. Александр Иванович Куприн написал гениальную историю про инфантильного идиота и клинического неудачника. Ромашов – это классический

представитель того типажа, который сегодня до тридцати лет живет с мамой, играет в танчики и ноет в соцсетях, что мир его не ценит. Какая у него «тонкая душевная организация»? Он обыкновенный бездельник. Помните момент, когда он мечтает, как станет великим полководцем, шпионом или ученым? При этом он не в состоянии выучить устав и организовать роту на параде. Его «космическая тоска» – это банальная лень и алкоголизм от скуки. Он бухает водку, жалеет себя и строит из себя Гамлета, будучи на деле обычным гарнизонным балластом.

В среднем ряду робко подняла руку Маша Сахарова – круглая отличница, тихая и бледная девочка, которая никогда не красилась, панически боялась Пушкину, но сейчас просто не выдержала осквернения своих девичьих идеалов:

– Но Александра Сергеевна... – почти прошептала она, краснея. – А как же его чистая любовь к Шурочке Николаевой? Она же его муза!

Пушкина издала короткий, циничный смешок, от которого у отличницы перехватило дыхание.

– Любовь? – Александра Сергеевна поправила манжеты строгой блузки. – Милочка, включи серое вещество. Шурочка Николаева – это самая хищная, расчетливая и безжалостная сука во всей русской литературе начала двадцатого века. И Куприн это показал блестяще, хотя школьная программа упорно пытается сделать из нее жертву обстоятельств. Шурочка – провинциальная карьеристка, запертая в глуши с мужем-тупицей Николаевым, который не может сдать экзамен в академию Генштаба. И тут появляется Ромашов – влюбленный дурачок со взором горящим. Как поступает наш «светлый ангел»? Она виртуозно крутит этим мальчиком. Она спит с ним? Нет, она держит его на строгом поводке френдзоны, подкармливая обещаниями, потому что ей нужен ресурс.

Александра Сергеевна прошла по рядам. Рост лилипутки заставлял ее смотреть снизу вверх даже на сидящих учеников, но ее циничная уверенность делала ее гигантом.

– А теперь откройте финал и посмотрите на вершину эгоизма и психологического садизма. Когда анонимки доходят до мужа и дуэль становится неизбежной, Шурочка приходит к Ромашову ночью. Романтично? Обреченно? Читаем текст внимательно. Что она ему говорит? «Вы должны стреляться, но никто не должен быть ранен. Мой муж сдаст экзамен, карьера будет спасена». Она буквально ломает парню остатки воли. Она знает, что ее муж – злобный, испуганный кабан, который будет стрелять на поражение, чтобы смыть позор. Она сознательно отправляет Ромашова под пулю, потому что живой влюбленный подпоручик – это пятно на репутации жены офицера Генштаба, а мертвый Ромашов – это идеальный, молчаливый финал глупой истории. Она купила продвижение мужа по службе ценой жизни этого наивного дурака. Вот вам и «чистая любовь». Куприн написал анатомию женского прагматизма, замешанного на трусости и тщеславии.

В классе повисла гробовая тишина. Суровые девчонки с задних парт испуганно переглянулись, узнав в Шурочке, возможно, свои самые потаенные мыслеустановки.

– И сам поединок, – подытожила Александра Сергеевна, победоносно глядя на Стаса Копровского. – Это не торжество чести. Это апофеоз человеческой глупости. Ромашов шел туда, думая, что они сыграют в благородство. А получил пулю в живот от человека, которому просто нужно было сдать экзамен и уехать в Петербург. Человеческая природа, господа, – это грязный, эгоистичный механизм. И Куприн, великий циник, показал, что в этом мире выживают Шурочки и Николаевы, а мечтательные Ромашовы истекают кровью на грязной траве, потому что путают свои подростковые иллюзии с реальной жизнью.

Она взглянула на настенные часы. До звонка оставалось две минуты.

– Во все времена главным навыком человека было умение разбираться в сортах говна. И учиться этому нужно с детства. На дом – сочинение. Тема: «Шурочка Николаева как эффективный менеджер начала двадцатого века». Попробуйте только написать мне про «трагедию чистой любви» – поставлю пару и заставлю учить устав пехотной службы. Свободны.

Александра Сергеевна грациозно вошла на свой стул и стала собирать тетради в крошечную кожаную сумку. На фоне замершего, ошарашенного класса она выглядела маленькой, но абсолютно монументальной фигурой, в очередной раз раздавившей дешевый романтизм суровой правдой жизни.

«Полевые цветы», И. Бунин

Облака над Н плыли тяжелые, лоснящиеся, будто вымазанные в парном коровьем молоке. Поздняя весна в провинции всегда пахла одинаково: подсыхающим конским навозом, горькой почкой тополя и глухой, неизбывной тоской по неслучившемуся. На вершине холма, у самой кромки заброшенного глиняного карьера, ветер шевелил сухую прошлогоднюю полынь. Здесь, среди первозданной тишины, от которой уездный человек либо плачет, либо пьет горькую, стояла ОНА.

Ее крошечные туфли двадцать четвертого размера, сшитые на заказ у старого глухого мастера, едва приминали молодую крапиву. Александра Сергеевна Пушкина, Народный учитель Российской Федерации, имела рост ровно девяносто сантиметров и весила как упитанный первоклассник – двадцать пять килограммов. Но когда она закидывала назад свою огромную, как у античного сфинкса, голову в старомодной фетровой шляпке, пространство вокруг нее сжималось. Филологический гений, запертый в этом микроскопическом теле, не просил пощады – он доминировал.

Внизу, у подножия холма, ее спутник – тридцатилетний учитель физкультуры Сережа Пистёнышев, похожий на растерянного орловского рысака – пытался разжечь мангал.

– Сереженька, оставьте вы это углеродное убожество, – донесся сверху камерный, хрустальный альт Александры Сергеевны. – Посмотрите лучше туда, в пойму. Вы чувствуете этот трепет? Примерно в таком же месте в конце девятнадцатого века юный Иван Алексеевич Бунин уловил тончайший, едва различимый вздох чистой и незащищенной русской природы. «Полевые цветы»... Какая хрупкая, акварельная элегия! Какой благоговейный пиетет перед чистой, незамутненной душой юга России. Помните ли вы это изысканное противопоставление тепличной, фальшивой роскоши и скромного, стыдливого очарования наших лугов? «Их возростила весна благовонная...» Это же чистый дух соборности, Сереженька! Тихая, святая радость бытия, скрытая от глаз сытого мещанства...

Пистёнышев, как раз в этот момент дувший на угли, со свистом втянул дым, закашлялся, потерял равновесие и с глухим треском рухнул задом прямо в густые заросли дикой смородины. Куст хрустнул. Из гнезда с криком вылетела испуганная овсянка.

Александра Сергеевна медленно повернула голову. Ее огромные, навывкате, абсолютно мертвые глаза циника с сорокалетним стажем сфокусировались на барахтающемся физруке. Лицо ее мгновенно утратило тургеневский овал.

– Ну вот, – сухо, со свистом выдохнула она, и хрустальный альт превратился в наждачный скрип перекурившей проводницы. – Еще один представитель коренной фауны доломал экосистему. Впрочем, аутентично. Иван Алексеевич, царство ему небесное, именно про таких дегенератов и писал, просто мелкой школоте об этом говорить не принято.

Она ловко, по-обезьяньи, прыгнула с гранитного валуна, приземлившись на четвереньки, мгновенно выпрямилась и, опираясь на крошечную трость с серебряным набалдашником в виде черепа, подошла к распластанному Сергею.

– Александра Сергеевна, я... – пробормотал тот, отряхивая штаны от земли.

– Заткнитесь, Сережа. Слушайте сюда, пока я жива, потому что в наших методичках написано дерьмо. Все эти сопли про «стыдливую красоту» родных полей – это величайший сеанс психоанализа, который Бунин провернул, будучи семнадцатилетним прыщавым подростком со скрытой депрессией. Вы текст-то помните, олух? Вспомните первую строфу: дорогие цветы цветут «в блеске огней, за зеркальными стеклами». А наши, полевые – «в зелени майской лесов и лугов». Нам десятилетиями впаривают, что это стих про патриотизм и скромность. Хрен там. Это чистая, дистиллированная классовая зависть и комплекс неполноценности нищего дворянчика!

Она ткнула концом трости в колено физрука, заставив его сесть прямо.

– Смотрите, как Бунин препарирует этих «заморских» мажоров. Их «возрастили в теплицах заботливо», их «не пугают метели холодные». У них, сука, есть отопление, уход и импортная логистика! «Привезли из-за синих морей». Это же элита. Рублевка конца девятнадцатого века. У них есть социальные гарантии и медицинская страховка от заморозков. А что у наших? «Сестры и братья заморских цветов». Нищие родственники из провинции! Их «возрастила весна» – то есть никто. Бросили в грязь, и если дождь пойдет – выживут, не пойдет – сдохнут. Кормовая база.

Александра Сергеевна прошла враз-вперед перед Пистенышевым, ее маленькая тень на траве выглядела злоевоюще длинной из-за заходящего солнца.

– И вот эти полевые нищелброды, вместо того чтобы как-то эволюционировать, смотрят на «вечных созвездий узор золотой». Знаете, что это такое на языке клинической психологии? Сублимация и уход от реальности! У тебя стебель сохнет, тебя завтра трактор скосит или физрук жопой раздавит, а ты стоишь и медитируешь на космос, потому что жрать нечего. «Веет от них красотой стыдливою»... Да не стыдливая она, Сережа! Она глубоко травмированная! Это классический стокгольмский синдром жертвы, которая гордится своей нищетой, потому что на большее у нее нет ресурса. «Сердцу и взору родные они» – ну еще бы, Бунин сам сидел в усадьбе без гроша в кармане, смотрел на эти сорняки и думал: «Ну и ладно, зато мы духовные, зато у нас узор золотой, а в петербургских оранжереях все барыги и твари».

Она остановилась, тяжело дыша, и заглянула в глаза ошалевшему коллеге.

– Понимаете, Сереженька, парадокс Бунина в том, что он гениально описал русскую ментальную ловушку. Сделать предметом гордости то, что ты вырос в канаве без теплицы. И ладно бы они просто росли. Так они же «говорят про давно позабытые светлые дни». Это вообще финал. Полный анамнез. Некрофилия и тоска по прошлому. Вместо будущего – медитация на зимние метели, которые их гарантированно убьют. Весь этот стих – это гимн выученной беспомощности, завернутый в обертку из майской зелени. Бунин ненавидел человеческую глупость, Сережа. Он показал, как легко превратить отсутствие элементарного комфорта в «стыдливую святость».

Она резко повернулась к мангалу, который к этому моменту наконец-то разгорелся ровным, жарким пламенем.

– Ну вот, угли готовы. Доставайте ваше мясо, Сережа. Будем жарить трупы невинных свиной на фоне этой святой, нищей и абсолютно беспощадной природы. И упаси вас бог пере-сушить шашлык – я заставлю вас наизусть учить всю первую книгу «Жизни Арсеньева».

«Полно, степь моя, спать беспробудно...», И. Никитин

Ранние июньские сумерки опускались на заброшенный кирпичный дебаркадер у старой лодочной станции. Река, ленивая и темная, как остывший чай, катила свои воды мимо ржавых остовов «Казанок».

На краю прогнившего деревянного настила, на раскладном брезентовом стульчике, сидела Александра Сергеевна Пушкина. Со стороны могло показаться, будто какой-то рассеянный ребенок забыл на пирсе дорогую фарфоровую куклу, одетую по моде старой петербургской профессуры. Но тяжелый, чугунный взгляд ее огромных глаз и дымящаяся в тонких пальцах капиллярная сигарета мгновенно разрушали эту иллюзию. Девяносто сантиметров чистейшего, концентрированного филологического ума, увенчанные званием Народного учителя Российской Федерации, созерцали закат.

Рядом на перевернутом ведре из-под олифы сидел Семен Ибомыслин – местный рыбовод-любитель и по совместительству бывший ученик Александры Сергеевны, ухитрившийся двадцать лет назад сдать выпускное сочинение на тройку лишь благодаря ее христианскому милосердию, которого теперь в ней не осталось и следа.

– Посмотри, Семен, на этот догорающий небосвод, – негромко, но удивительно объемным, бархатным контральто произнесла Александра Сергеевна. Ее маленькие ножки в ортопедических туфельках двадцать четвертого размера даже не доставали до досок настила, но ментально она высилась над рекой, как монумент. – Какая благословенная тишина. Знаешь, о чем я думаю? О великом завете Ивана Саввича Никитина. Помнишь ли ты его хрестоматийное: «Полно, степь моя, спать беспробудно...»? Какая неизбывная, метафизическая нежность к русской земле! Какая панорамная, почти сакральная драматургия пробуждения природы! Поэт умоляет эту бескрайнюю, распластанную в вечности степь умыться росой, принакрыться муравою и явиться миру в ненаглядной красе, словно невеста, идущая под венец. Это же гимн чистоте! Это абсолютный трепет художника перед девственным, неоскверненным бытием, где белоснежные тучки плывут толпами в синеве, а день утопает в ярком золоте... В этих строках дышит сама душа русского почвенничества, заставляющая плакать второклассников на уроках чтения...

В этот момент леска на удочке Семена резко дернулась, и он, завозившись, с грохотом уронил в воду банку с жирными, склизкими навозными червями. Банка перевернулась, и черви, дергаясь, начали медленно погружаться на дно, пока сама емкость уплывала по течению.

Александра Сергеевна медленно повернула голову. На ее безупречно напудренном лице, висевшем вместе с остальным телом не больше пары крупных арбузов, заиграла страшная, ледяная улыбка. Катарсис кончился. Начался анатомический театр.

– Впрочем, Семен, давай снимем эти кружевные панталоны девятнадцатого века и взглянем на текст Некрасова, то бишь Никитина без соплей, которых нам так щедро подбрасывают в методичках, – отрезала она, и ее голос мгновенно утратил пафос, став сухим и циничным, как отчет судмедэксперта. – Этот стишок, который наши умственно отстающие педагоги заставляют зубрить восьмилетних детей, – на самом деле гениальное пособие по абьюзу, жесткой эксплуатации и коллективному психологическому насилию.

Она затянулась и выпустила струю прямо в брюшко ошалевшему комару, начисто заблокировав его дыхальца.

– Давай препарируем сюжет. Кто здесь главный герой? Степь. Но Никитин относится к ней не как к живому существу, а как к ленивой, безответной бабе, которую нужно срочно поднять с дивана и заставить пахать на благо колхоза, которого еще даже не построили. Посмотри на этот менторский, командный тон с первых строк! «Полно спать!», «Пробудись!», «Умойся!», «В красе покажись!». Степь только-только пережила суровую зиму, у нее, воз-

можно, затяжная депрессия, авитаминоз и посттравматический синдром после морозов. Но поэту плевать на ее ментальное здоровье. Ему нужен фасад. «Принакрой грудь, нарядись как невеста». Типичное требование токсичного мужчины: накрасься, надень юбку покороче, соответствуй моим эстетическим запросам, а то мне скучно смотреть на твои серые суглинки.

Семен Ибомыслин замер, боясь пошевелиться. Александра Сергеевна поправила сползающие на крошечный нос очки и продолжила, чеканя слова:

– Но самый цинизм начинается во второй фазе. Зачем ее будят и заставляют наряжаться? Думаешь, ради любви? Хрен там. «Скоро гости к тебе соберутся, сколько гнезд понавьют – посмотри!». Это же описание чистейшего паразитизма! Прилетят пернатые нахлебники, нагадят, совьют на ее голове свои коммуналки и будут орать «день-деньской от зари до зари». И ладно бы только птицы. Дальше Никитин вообще сбрасывает маску романтика и включает режим рабовладельца. Слушай внимательно: «Там уж лето... ложись под косою, ковыль белый, в угоду косцам!».

Она резко подалась вперед, и Ибомыслин инстинктивно вжал голову в плечи – в этот миг Александра Сергеевна казалась гигантом, способным раздавить дебаркадер.

– Ты понимаешь весь ужас этой конструкции, Сема? Живую степь заставили проснуться, умыться росой, вырастить на себе прекрасный белый ковыль, нарядиться невестой – и все это только для того, чтобы пришел пьяный мужик с острой железкой и срезал ее красоту к чертовой матери «в угоду косцам»! Это же гимн бессмысленному, узаконенному насилию над личностью. «Распевайте, косцы, по ночам!» – поют они, пока у нее кровь-трава из стеблей хлещет. Причем заметь, какой извращенный стокгольмский синдром поэт навязывает жертве. В финале, когда степь обобрали дочиста, превратили в голый пустырь, заставили родить «копну за копною», автор великодушно разрешает ей: «Беззаботно и крепко усни». Спасибо, благодетель! Сначала изнасиловали, скосили все имущество, а теперь – спи, дорогая, под туманом, пока я твое сено на рынке продаю.

Александра Сергеевна затушила сигарету о подошву своей крошечной туфли и брезгливо бросила окурки в реку.

– Вот тебе и «весна наступает», Семен. Великий поэт Некрасов, то есть Никитин написал не пейзажную лирику, а манифест потребительского отношения к ресурсу. Степь в этом произведении – классическая терпила, а природа – бесправный конвейер по производству силоса. И мы учим этому детей во втором классе. Внушаем им, что если ты красиво нарядилась, то завтра тебя обязательно должны скосить под корень ради чужого каприза. Поразительная, монументальная дрянь.

Она замолчала, глядя на темнеющую воду. На лодочной станции воцарилась гробовая тишина, прерываемая лишь кваканьем лягушек, которые теперь казались Ибомыслину не привычным фоном живой природы, а соучастниками какого-то глобального преступления.

«Понедельник начинается в субботу», Аркадий и Борис Стругацкие

Жара стояла такая, что даже мухи на автовокзале города N передвигались исключительно пешком, лениво перебирая лапками по засаленному подоконнику диспетчерской. Воздух, густой и маслянистый, пах раскаленным асфальтом, пережаренными пирожками с ливером и дешевым, но дорогим бензином.

На перроне, среди клетчатых сумок челноков и пыльных междугородних автобусов, Александра Сергеевна Пушкина выглядела как изящная фарфоровая статуэтка, случайно оброненная в кучу металлолома. Рост в девяносто сантиметров и вечные двадцать пять килограммов веса заставляли окружающих инстинктивно уступать ей дорогу – не из жалости, боже упаси, а от какого-то мистического ужаса перед этой крошечной, идеально прямой спиной и тяжелым, насквозь видящим взглядом Народного учителя РФ.

Она сидела на своем дорожном чемодане, как на троне, а огромный, потеющий от зноя физрук Виталий Петрович Окуительных, вызвавшийся донести ее багаж, преданно заглядывал ей в лицо.

– Какая глушь, Витенька, какая упоительная, первозданная глушь, – негромко, но отчетливо произнесла Александра Сергеевна, и ее грудной, бархатный альт заставил притихнуть даже цыганок у билетных касс. – Вы только вдумайтесь в эту звенящую тишину провинциального бытия. Именно в таких местах, вдали от столичного шума, в тихих НИИ и пыльных лабораториях рождалась величайшая утопия советского интеллигентного духа. Я говорю об Аркадии и Борисе Стругацких. Об их бессмертном романе «Понедельник начинается в субботу». Боже, какой это чистый, хрустальный гимн Труд с большой буквы! Это же абсолютный апофеоз производственного романтизма шестидесятых. Люди, отринувшие мещанский быт ради чистой науки! Они не знают усталости, они презирают деньги, их суббота – это лишь преддверие священного рабочего понедельника. Это гимн людскому гению, воспаряющему над серостью будней в поисках абсолютного счастья для всего человечества...

В этот момент из-за угла вокзала с оглушительным скрежетом выкатился ржавый пазик. Водитель, матерясь на всю площадь, попытался воткнуть заднюю передачу, из глушителя вырвалось облако сизого, вонючего дыма, которое окутало Александру Сергеевну с ног до головы. А тут еще местный алкаш, дремавший на скамейке, громко и смачно высморкался в кулак.

Александра Сергеевна даже не поморщилась. Она достала из крошечного ридикюля белоснежный батистовый платок, изящно промокнула кончик носа, и ее лицо мгновенно утратило выражение благостного экстаза. Глаза сузились до размеров двух лазерных прицелов. Она резко дернула физрука Окуительных за шлевку джинсов, заставляя послушно согнуться в три погибели, чтобы с высоты двухметрового роста не пришлось ловить ее слова, заглушаемые разбушевавшимся транспортом.

– Господи, Витя, какую же инфантильную херню нам десятилетиями втирали под видом «светлого завтра», – ледяным шепотом произнесла она, и физрук судорожно сглотнул. – Ты вообще эту книгу читал своими спортивными мозгами? Это же не гимн науке. Это клинический разбор запущенного дурдома, населенного эгоистичными, закомплексованными ублюдками и тунеядцами высшей категории, прикрывающимися квазиинтеллектуальным бредом. Возьми их главного героя, Сашу Привалова. Программист, сука, элита! Молодой здоровый мужик едет в отпуск, подбирает двоих автостопщиков и безропотно дает им затащить себя в какую-то полуразрушенную избушку к безумной старухе. Почему? Да потому что он типичный бытовой паразит без зачатков воли. Ему лень принимать решения.

Александра Сергеевна раздраженно побарабанила крошечным, идеально покрашенным ногтем по замку своего чемодана, на котором сидела. Виталик вздрогнул и выпрямился по стойке «смирно». Как на педсовете.

– А сам этот ваш хваленый НИИЧАВО? Научно-исследовательский институт Чародейства и Волшебства? Это же чистой воды министерство по отмыванию государственных бюджетов и симуляции бурной деятельности! Чем они там занимаются? Камноедов, Кристоаль Хунта, Выбегалло – это же карикатурный паноптикум. Хунта, бывший великий инквизитор, просто развлекается тем, что мучает живых существ ради своего эго, переводя тонны казенного золота на создание каких-то бесполезных штанов с начесом.

Она сделала паузу, чтобы поправить сползающую с плеча лямку огромной, явно не по размеру, дорожной сумки, которую Виталий Петрович тут же деликатно подхватил двумя пальцами, боясь случайно сломать саму учительницу.

– Говноедов, то есть Камноедов – типичный номенклатурный сухарь, который строит из себя бога, а на деле не способен даже навести порядок в собственном виварии. Они якобы «работают по ночам», потому что им «интереснее жить, чем отдыхать»? Витенька, не смеши мои седые подмышки. Они торчат в институте ночью только потому, что у них нет личной жизни! Они абсолютно кастрированы в социальном и эмоциональном плане. У них нет ни жен, ни детей, ни любовниц, ни элементарных хобби. Это сборище социопатов, которые прячутся от реального мира за закрытыми дверями лабораторий, чтобы не дай бог не столкнуться с настоящими человеческими проблемами. Они имитируют оргазм от работы, потому что реального оргазма в их жизни никогда не было и не предвидится.

Жара становилась невыносимой. Александра Сергеевна резким жестом веера – крошечного, сувенирного, из черного кружева – отогнала жирную зеленую муху, собиравшуюся сесть ей на воротничок блузки.

– Апофеоз этой шарашкиной конторы – Амвросий Амбруазович Выбегалло (господи, Окуительных, откуда они такие имена берут?). Все привыкли считать его сатирой на лженауку, на Трофима Лысенко. Ха! Да Выбегалло – единственный честный человек в этом серпентарии! Он делает ровно то, чего требует от него система: кормит толпу демагогией про «кадавров» и «удовлетворение потребностей». Он плоть от плоти этого института. Его модель идеального потребителя, которая жрет все подряд, а потом взрывается, – это же гениальное пророчество Стругацких о них самих! Весь этот НИИЧАВО – и есть тот самый кадавр, который бесконечно жрет государственные ресурсы, выделяет тонны макулатуры в виде отчетов и в итоге аннигилирует в абсолютное ничто. И ради чего все это? Ради «счастья человеческого»? Да они людей презируют! Помнишь, как они относятся к местным жителям Соловца? Как к антропоморфному мусору, путающемуся под ногами со своими примусами и козами. Великие маги, ёптыть, не могут починить протекающую крышу в КИТЕЖе, но с умным видом рассуждают о свертывании пространства-времени. Это триумф эгоизма, завернутый в красивую обертку из цитат Хемингуэя и песен под гитару.

Александра Сергеевна резко встала с чемодана. Несмотря на то, что макушкой она едва доставала до локтя стоявшего рядом физрука, Виталий Петрович невольно сделал шаг назад, чувствуя, как его придавливает к перрону ее колоссальная, ядовитая харизма.

– Ну что ты застыл, как соляной столп, Витя? – зловеще усмехнулась она, поправляя воротничок блузки. – Наш гроб на колесах подали. Пошли грузиться в этот оплот провинциального гуманизма. И не забудь мой чемодан, там годовой запас стерильных спиртовых салфеток. Единственное, что позволяет мне физически не соприкасаться с антропологическим кошмаром этого мира.

«Попрыгунья», А. Чехов

Кабинет русского языка и литературы замер в том предсмертном оцепенении, какое бывает в провинциальных школах лишь в душное майское послеполуденье. За окном, в мареве расплавленного асфальта, тоскливо выла бродячая собака, а по классу плыл густой, почти осязаемый аромат дешевого вейпа с запахом химозного яблока. Эту заразу курили девицы с задней парты – Нино Шлюкадзе и Зина Развратцева, две монументальные десятиклассницы с одинаково пустыми глазами и накачанными гиалуроном губами, делавшими самих девиц похожими на глубоководных рыб.

За учительским столом, на стуле с подставкой из трех толстых томов энциклопедического словаря, возвышалась Александра Сергеевна Пушкина. Народный учитель Российской Федерации, чей рост замер на отметке девяносто сантиметров, весила ровно двадцать пять килограммов.

С высоты своего лилипутского величия она казалась изящной фарфоровой статуэткой, случайно оброненной эпохой Просвещения в это болото пубертатного нигилизма. Ее крошечные пальцы, униженные старинными фамильными кольцами, бережно перелистывали пожелтевшие страницы чеховской «Попрыгуньи».

Она заговорила. Голос ее, густой, бархатный, невероятного каминного тембра, поплыл над партами, точно туман над Невой.

– Господа, – произнесла Александра Сергеевна, и класс по привычке втянул головы в плечи. – Сегодня мы прикасаемся к тончайшей партитуре человеческой души. Антон Павлович Чехов... О, этот великий, скорбный диагност нашего духа! Какая акварельная нежность, какая хрустальная грусть разлита в каждой строчке «Попрыгуньи». Перед нами разворачивается трагедия несовпадения миров. Ольга Ивановна – это же чистый, незамутненный порыв к прекрасному! Настоящая муза, ищущая среди серой, удушливой обыденности яркие мазки гениальности. Как трепетно она собирает вокруг себя художников, музыкантов, писателей! Ее салон – это оазис духа. А Дымов? Этот святой доктор, этот титан науки, молчаливо несущий свой крест ради счастья хрупкой женщины. Какое самопожертвование! Какая величественная драма истинной, негромкой любви, которая гибнет под натиском легкомысленного, но такого понятного стремления юности к поэзии и солнцу...

Нино Шлюкадзе на задней парте шумно и смачно зевнула, щелкнув челюстью на весь кабинет. В тишине раздался отчетливый писк мобильного телефона: Зине Развратцевой пришел лайк в соцсетях.

Александра Сергеевна на секунду замолчала. Поправила кружевной воротничок, который был ей слегка велик. Ее крошечное лицо, иссеченное благородными морщинами пенсионного возраста, вдруг окаменело. Взгляд огромных, филологически мудрых глаз сузился до размеров бритвенного лезвия.

– Короче, Развратцева, спрячь свой обрубок китайской индустрии, пока я не засунула его тебе в твою гиалуроновую пазуху, – ровным, леденящим душу басом произнесла Александра Сергеевна. Класс мгновенно подобрался. – А теперь снимем розовые сопли, которыми вас кормит министерский учебник, и включим мозги, если у вас там осталась хоть капля серого вещества после просмотра рилсов.

Она оперлась крошечными ручками о край стола, подавшись вперед. Ее ментальная тень в этот миг, казалось, заняла весь кабинет, раздавив стокилограммовых девиц с задней парты.

– Чехов написал не драму любви. Он написал идеальный, клинический протокол сумасшествия и бытового паразитизма. Давайте препарируем эту вашу Ольгу Ивановну. Кто она? Тварь дрожащая, у которой вместо личности – дыра, которую она пытается заткнуть чужим авторитетом. Она же абсолютная бездарность! Сама не умеет ни хрена: малюет мазню, брен-

чит на фортепиано три аккорда, но имеет наглость судить о гениальности. Ее «салон» – это не оазис духа, это зоопарк тщеславия, где она работает бесплатным зрителем. Она коллекционирует людей, как вы, Шлюкадзе, коллекционируете дурацкие значки на рюкзаке. Для нее человек имеет ценность, только если у него есть ярлык «знаменитость».

Александра Сергеевна величественно сошла со своего каustomного стула. Из-за стола теперь была видна только ее седая, безупречно причесанная голова. Она подошла к доске.

– А теперь посмотрите на ее отношение к Дымову. Это же чистый, рафинированный садизм. Мужик пашет на двух работах, как проклятый сивый мерин. Он режет трупы, читает лекции, готовит диссертацию. Он – единственный настоящий гений в этой куче навоза, его медицина двигает человечество вперед. А что делает эта попрыгунья? Она стыдится его! Ей запахло показать мужа своим друзьям-актерам, потому что у него фрак сидит не по парижской моде и он не умеет нести высокопарную чушь про «светотень» и «чистый колорит». Она заставляет его, уставшего после двенадцатичасовой смены в больнице, бегать по магазинам и покупать ей розовую шелковую ткань для платья, потому что барыня изволит кататься по Волге с художником Рябовским!

Пушкина резко повернулась, ее маленькие туфельки двадцать четвертого размера глухо стукнули по линолеуму.

– И вот тут мы доходим до Рябовского. Чехов гениален в своем цинизме. Этот художник – обычный, среднестатистический бабник и нарцисс. Он вешает ей на уши лапшу про «томление духа», а сам просто хочет по-быстрому развлечься на лоне природы. И как только наша Ольга Ивановна вешается ему на шею со всей своей душной, провинциальной экспрессией, он тут же начинает от нее выть. Текст читайте, олухи! Рябовский кричит ей: «Вы мне надоели!» Ему тошно от ее картинности. Она ведь даже изменяет мужу не из-за страсти, а потому что это «романтично», это как в книжках! Ей нужен антураж: Волга, сумерки, плачущий художник. Тьфу, дешевая оперетта!

Александра Сергеевна легко, со сноровкой старого солдата запрыгнула обратно на стул, а оттуда – на свои энциклопедии. Класс сидел, не шевелясь. Даже Развратцева забыла про свой телефон.

– Но самый сок, господа дегенераты, – это финал. Дымов умирает. Умирает глупо и страшно – высасывает через трубочку дифтерийные пленки у больного ребенка. Почему он это сделал? Да потому что жить в этом аду больше не мог! Это был скрытый суицид интеллигента, которого заездила собственная жена. И что делает Ольга Ивановна, когда доктор Коростелев прямым текстом говорит ей, что Дымов был будущим светилом науки, великим человеком? Катарсис? Раскаяние? Обильное умывание слезами? Нет! Цитирую Чехова: «Она вспомнила, как он был велик... и ей стало страшно, что она прозевала великого человека». Понимаете?! – Александра Сергеевна почти закричала, и ее голос звенящей струной ударил в потолок. – Ей жалко не мужа! Не человека, который ее любил и кормил! Ей жалко, что она прое... – Пушкина сделала секундную паузу, филигранно удержавшись на грани, – проглядела бренд! Она рыдает оттого, что в ее коллекции знаменитостей, прямо у нее под носом, был самый дорогой экспонат, а она, дура, использовала его как подставку для зонтиков! Она бежит к его постели, чтобы успеть сказать ему, что она «оценила» его. Ей нужно зафиксировать свое право собственности на покойного гения! Но поздно. Труп остыл. Занавес.

Александра Сергеевна аккуратно закрыла книгу. В классе стояла такая тишина, что было слышно, как на первой парте испуганно дышит отличник Володя Мяскин.

– Вот вам и вся любовь, господа, – тихо закончила она, и в ее глазах снова блеснул тот самый холодный, бесконечно уставший от человеческой глупости интеллект. – Чехов показал нам, что эгоизм ничтожества страшнее пушечного ядра. Он не оставляет после себя руин – он оставляет после себя выжженную, пустую тундру. Запишите тему домашнего сочинения:

«Патология эгоцентризма в рассказе Чехова». И не вздумайте списывать из Интернета, я все эти ваши «мысли критиков» наизусть знаю еще с девятнадцатого века. Все свободны.

Она села на свой стул и принялась аккуратно затачивать карандаш огромным канцелярским ножом.

«Портрет», Н. Гоголь

За окном кабинета русского языка и литературы, где уныло накрапывал бессмысленный провинциальный дождь, стлался туман такого густого, сизого свойства, какой бывает только в отечественной глубинке, когда осень уже бесповоротно сожрала остатки тепла, а центральное отопление еще не соизволило явиться в мир.

В этой серой полумгле, заваленная горами ученических тетрадей, восседала на тройной подушке Александра Сергеевна Пушкина. Природа, обделив ее вертикальным измерением и остановив рост на отметке в девяносто сантиметров, с лихвой компенсировала это поистине грозным, кастильским величием духа. Из-за массивного дубового стола виднелась лишь ее точеная, строго зачесанная голова с пучком серебряных волос да крошечная, но хищная рука, сжимавшая тяжелую перьевую ручку. Она была Народным учителем России, и один поворот этой головы заставлял тридцать оболтусов дышать через раз.

Перед ней, развалившись на первой парте, сидел Дениска Фикальзон – классический продукт местного демографического тупика, тринадцатилетний дегенерат с лицом, не тронутым мыслью, присланный директрисой на «воспитательную беседу» за курение вейпа в туалете.

– Фикальзон, оставь в покое свой прыщ, он не станет твоим собеседником, – тихо, но отчетливо произнесла Александра Сергеевна. Голос ее, бархатный, глубокий, контрастировал с телом, как церковный орган с табакеркой. – Посмотри в окно. Какая гоголевская, какая пронзительная тоска... Ты ведь не читал «Портрет», верно? О, Гоголь! Великий мистик, чье перо было омочено в слезах ангелов и желчи бесов. Как трепетно, с каким религиозным ужасом описывает он трагедию молодой, неоскверненной души художника Чарткова! Это же гимн чистому искусству, Фикальзон. Николай Васильевич буквально умоляет нас: берегите искру Божию, не продавайте ее за злато, ибо мир – лишь холст, на котором дьявол пытается намалевать свои уродливые черты. Помнишь ли ты, как Чартков, умирая в безумии, скупает шедевры, чтобы уничтожить их? Это апофеоз духовной гибели, чистейшая, хрустальная трагедия невыносимого масштаба...

В этот момент Фикальзон громко, со свистом втянул носом соплю и смачно зевнул, хрустнув челюстью.

Александра Сергеевна замолчала. Ее крошечные пальцы медленно опустили ручку. Глаза, только что лучившиеся филологическим экстазом, превратились в две холодные шелки. Она легко, одним бесшумным движением соскочила на пол. Стоя на линолеуме, она едва доставала Дениске до плеча, но ее тень, отбрасываемая тусклой лампой, казалась гигантской.

– Господи, Фикальзон, какой же ты дебил, – ласково и обыденно сказала Пушкина, и весь ее девятнадцатый век осыпался, как штукатурка в школьном коридоре. – Впрочем, Гоголь в твои годы был не лучше. Знаешь, почему вам, кретинам, пихают эту повесть в средних классах? Чтобы вырастить из вас покорное, нищее стадо. Нам с амвона двести лет проповедуют: «Ах, Чартков продал талант за червонцы, ах, как это низко!» А если включить мещанские мозги и почитать текст не через задницу?

Она подошла к подоконнику, скрестив крошечные руки на груди.

– Давай разберем этого твоего «гениального» Чарткова. Чувак живет в обосранной комнате на Васильевском, жрать ему нечего, за аренду долг, свечи нет, сидит в темноте. И тут он на последний четвертак покупает портрет какого-то стремного азиата с живыми глазами. Нормальный стартап? Чувак – клинический шопоголик с суицидальными наклонностями. И вдруг – о чудо! – из рамы вываливается сверток с тысячей червонцев. Что делает «чистый художник», эта тонкая духовная субстанция? Может, он покупает лучшие холсты, нанимает натурщиков, едет в Италию учиться у мастеров? Хрен там.

Пушкина презрительно фыркнула, ее маленький нос заострился.

– Наш «гений» первым делом бежит в модную ресторацию, нажирается там до икоты, покупает духи, гору бессмысленных галстуков, снимает роскошную квартиру на Невском и – внимание! – платит журналисту, чтобы тот накатал о нем хвалебную статью в газету. Фикальзон, это не трагедия искусства. Это классическая история провинциального ничтожества, которое дорвалось до бабла. Он обычный блогер-миллионник своего времени, который крутит гивы и покупает просмотры. Весь его «талант» будто бы существовал только тогда, когда у него урчало в животе. Но настоящий талант деньгами не испортишь, а если ты от первой пачки купюр превратился в салонного маляра – значит, ты и был маляром, просто нищим.

Она прошлась по классу, ее маленькие туфли стучали, как копытца.

– А теперь финал, который наши методисты называют «бунтом оскорбленного духа». Чартков видит картину своего бывшего сокурсника, который реально вкалывал в Италии, жил на хлебе и воде и выдал шедевр. У Чарткова срывает кукуху. Он начинает скупать лучшие произведения искусства и резать их дома ножницами в припадке безумия. Нам говорят: «Это в нем кричит утерянный дар!» Да нихера в нем не кричит, кроме жабы! Обыкновенная, неприкрытая, токсичная зависть ничтожества к чужому успеху. Он зачищает конкурентов, как бандюган из девяностых. Гоголь гениален не потому, что написал сказочку про черта в раме. Он гениален, потому что описал абсолютную, эталонную гниль человеческого эгоизма. Люди не меняются, Фикальзон. Дай тебе сейчас миллион долларов – ты не построишь приют, ты купишь золотой вейп, посадишь девок в лимузин, а когда деньги кончатся, пойдешь ломать чужие машины из чистой злобы оттого, что у кого-то жизнь удалась, а ты остался прежним прыщавым задротом.

Александра Сергеевна остановилась прямо перед партой Фикальзона. Физически она была как кукла, но ее филологический, рентгеновский ум сейчас буквально размазывал подростка по парте. Дениска, бледный и испуганный, вжался в стул.

– Вот и вся мистика, – подвела итог Пушкина, внезапно снова меняя тон на ласково-педагогический. Она ловко взобралась обратно на свой тройной трон из подушек. – Ладно, Фикальзон. Свободен. Иди кури свой глицерин. Но если я еще раз почую этот ягодный смрад возле сортира – я устрою тебе такую деконструкцию твоей личности, что ты до одиннадцатого класса будешь ходить исключительно под себя. До свидания.

Когда школьник, спотыкаясь, вылетел из кабинета, Александра Сергеевна бережно взяла в руки томик Гоголя, провела маленькой ладонью по обложке и тихо, с бесконечной, щемящей нежностью прошептала:

– Какая глубина... Какой невероятный, безжалостный знаток человеческой грязи. Божество. Просто божество.

«После бала», Л. Толстой

В тот душный майский полдень, когда провинциальное марево лениво плавало асфальт за окнами кабинета русского языка и литературы, время словно замедлило свой ход, подражая тягучему слогу великих классиков позапрошлого столетия. Воздух, густо настоящий на запахе старой бумаги, мела и дешевого дезодоранта, казался неподвижным. На тридцать унылых подростковых лиц, обезображенных первыми гормональными бурями и полным отсутствием мысли, снизошла странная, почти благоговейная тишина. Причиной тому была ОНА.

Прямо на учительском столе, аккуратно поджав короткие ножки, сидела Александра Сергеевна Пушкина. Народный учитель РФ, чья седая голова едва возвышалась над ноутбуком, когда она стояла на полу, обладала удивительным свойством: ее девяносто сантиметров роста в моменты филологического экстаза заполняли собой все пространство от плинтуса до побеленного потолка. Ментальный масштаб этой крошечной женщины безжалостно расплющивал любого, кто осмеливался взглянуть на нее свысока.

– Послушайте, дети, – ее голос, бархатный, глубокий, звенящий истинным благородством, полетел над партами. – Какая дивная, трепетная метаморфоза духа явлена нам в рассказе Льва Николаевича «После бала»! Какое целомудрие чувств! Юный Иван Васильевич, окрыленный чистейшей, почти ангельской любовью к Вареньке, кружится в вихре мазурки. Весь мир для него – это симфония нежности, воплощенная в грациозном движении ее шелкового платья, в сияющих глазах ее отца-полковника. Это гимн человеческой чистоте, где дворянское гнездо предстает обителью высшего благородства и эстетического совершенства. Какая поэзия... Какая святая вера в торжество прекрасного над земной суетой...

На задней парте деваха с надутыми, как у рыбы-капли, губами и фиолетовыми накладными ногтями громко и смачно зевнула, издав звук, похожий на кваканье утопающей жабы.

Александра Сергеевна замолчала. Глаза ее, секунду назад лучившиеся светом далеких звезд, мгновенно сузились, превратившись в два лезвия из вольфрамовой стали. Она медленно повернула голову. Контраст между ее кукольным тельцем в строгом твидовом жакете и ледящей аурой каторжного надзирателя заставил восьмой класс втянуть головы в плечи.

– Блудоумова, рот закрой, кишки простудишь, – сухо, как хрустнувшая ветка, бросила Пушкина, и весь ее девятнадцатый век осыпался сухой штукатуркой. – А теперь снимем розовые очки, стадо, и посмотрим на этот шедевр трезвыми глазами людей, знающих, из какого дерьма замешана человеческая психика.

Она прыгнула со стола. Крошечные лакированные туфли глухо стукнули по линолеуму. Александра Сергеевна зашагала между рядами, заложив руки за спину, точно маршал перед расстрелом дезертиров.

– Вы вообще поняли, про что этот текст? Учебник вам врет, что это обличение царизма. Чушь собачья. Толстой написал гениальную историю о тотальном, рафинированном эгоизме и трусости инфантильного мажора. Посмотрите на этого Ивана Васильевича. Он же конченный нарцисс. Он влюблен не в Вареньку. Он влюблен в свое состояние влюбленности. Ему шелковое платье важнее самой бабы. Он приперся домой после бала, спать не может, у него гормоны бурлят, в ушах мазурка стучит. И тут он идет бродить по городу и видит, как на плацу татарина гоняют сквозь строй шпицрутенами за побег. И руководит этим делом папаша Вареньки – тот самый милый полковник, который только что нежно целовал дочку.

Александра Сергеевна остановилась у парты местного хулигана Али Навозоглы, который от страха забыл, как дышать.

– И что делает наш трепетный влюбленный? У него наступает катарсис? Он бежит спасать бедолагу? Нет. У него, видите ли, «на сердце была почти физическая, доходившая до тошноты тоска». Мальчику испортили кайф! Ему сломали красивую картинку! Он увидел, из чего

куется благополучие этого сословия – из крови, мяса и солдатских спин. И какова же реакция нашего благородного рыцаря? Он немедленно сливает Вареньку. Любовь, – Александра Сергеевна ядовито ухмыльнулась, – «пошла на убыль». Видите ли, каждый раз, когда он смотрел на нее, он вспоминал полковника на плацу.

Она резко повернулась на каблуках, ее крошечный силуэт казался гигантской тенью на доске.

– Какая удобная, трусливая психосоматика! Парень просто нашел идеальный, высокодуховный повод соскочить с ответственности. Жениться на Вареньке – это ведь значит войти в эту семью. Это значит признать, что твой тесть – палач, и ты сам живешь на деньги, заработанные этим палачом. А Иванушке хочется оставаться беленьким и пушистым в собственных глазах. Ему лень бороться, ему страшно запятнать свое нежное эго. Он не делает ничего. Он просто умывает руки, бросает девчонку, которая вообще ни в чем не виновата, и всю оставшуюся жизнь корчит из себя святого страдальца, рассказывая эту байку собутыльникам. Толстой препарировал классического русского интеллигента-импотента: столкнувшись с реальной грязью жизни, этот слизняк сворачивается в ракушку, объявляет мир несовершенным и уходит в запой или в созерцание своего пупка.

В классе стояла гробовая тишина. Даже Жанна Блудоумова забыла про свои фиолетовые ногти.

Пушкина подошла к окну, легко запрыгнула на подоконник, отчего ее фигура на фоне яркого неба показалась вырезанным из черной бумаги грозным монолитом. Она посмотрела на часы.

– Завтра напишете мне эссе на тему «Иван Васильевич как прототип современного обывателя с дулей в кармане». Свободны.

«Послушайте!», В. Маяковский

В провинциальном городе N, где грязь по весне приобретала консистенцию и цвет пережаренной гречневой каши, кабинет русского языка и литературы являл собой оазис чистейшего, беспримесного девятнадцатого столетия. За окном, хлюпая разбитыми кроссовками, уныло брели аборигены, а здесь, под сенью подсыхающего фикуса, вершилось таинство.

На учительском стуле, утопая в казенном дермати́не, восседала Александра Сергеевна Пушкина. Рост ее – ровно девяносто сантиметров от крошечных каблучков до безупречно уложенного седого шиньона – никогда не служил поводом для снисхождения. Напротив, эта физическая лаконичность лишь подчеркивала монументальность ее филологического духа.

Когда она говорила, класс замирал, подавленный масштабом мысли, струившейся из этого хрупкого, почти игрушечного тела. Она казалась ожившей фарфоровой статуэткой, в которую по ошибке вдохнули мощь грозowego фронта.

– Дети, – ее голос, глубокий, бархатный альт, вибрировал под потолком, заставляя тридцать пар подростковых глаз оторваться от экранов смартфонов. – Сегодня мы открываем Маяковского. О, этот неистовый футурист! Год четырнадцатый, преддверие мировой катастрофы, а он пишет «Послушайте!». Вдумайтесь в этот крик обнаженной, израненной души. Это же чистейший метафизический трепет! Человек, задыхаясь в метелях земной пошлости, врывается к Создателю. Он не просит благ, не умоляет о спасении души. Он целует эту жилистую, натруженную руку Творца ради одной-единственной вещи – чтобы зажглась звезда. Какая тонкость, какое космическое одиночество, преодолеваемое через великую жертвенность и интимный диалог с Абсолютом! Это гимн человеческому неравнодушию, ломающий оковы обыденности...

В этот момент на задней парте девица Тоня Плядчук, чьи ресницы по густоте могли соперничать со щетками для чистки обуви, громко и сочно зевнула, после чего отчетливо хрустнула суставами пальцев и прошептала подруге:

– Блин, Лерка, у меня подписка на «Плюс» кончилась, прикинь? Жизнь – боль.

Александра Сергеевна замолчала. Взгляд ее маленьких, острых, как скальпели, глаз сфокусировался на Плядчук. В кабинете повисла зловещая тишина. Пушкина медленно, с достоинством соскользнула со стула. Ее крошечные ножки в ортопедических туфлях беззвучно ступили на линолеум. Она подошла к первой парте, легко взобралась на пустующий ученический стул, чтобы оказаться на уровне глаз класса, и оперлась пухлыми ручками о край стола.

Вся возвышенная патока мгновенно испарилась из ее лица. Взгляд стал ледяным и абсолютно циничным.

– Плядчук, – вкрадчиво произнесла Пушкина, и класс вжал головы в плечи. – Жизнь – действительно боль, но исключительно оттого, что популяция хомо сапиенс на девяносто процентов состоит из инфантильных паразитов. И твой Маяковский в четырнадцатом году написал именно об этом. Забудьте тот бред про «космическую любовь», о которой пишут критики. Давайте препарируем этот текст без соплей.

Она шагнула со стула на полированную поверхность стола и прошлась по парте – маленькая, грозная, похожая на Наполеона перед расстрелом пленных.

– Что мы видим в тексте? «Ведь, если звезды зажигают – значит – это кому-нибудь нужно?». Перед нами классический, эталонный манифест эгоцентризма и бытового паразитизма. Герой стихотворения – типичный душный абьюзер и лодырь, страдающий от экзистенциального безделья. Ему скучно. Ему, видите ли, темно ходить по кабакам. И что делает этот гений эгоизма? Он врывается к Богу. Заметьте, не заходит с поклоном, а врывается, устраивая истерику на пороге. Наглость космических масштабов.

Пушкина презрительно усмехнулась, поправляя воротник блузки.

– Дальше – чистая клиника. Он «плачет, целует ему жилистую руку». Зачем? Из любви к Творцу? Нет! Из чистого шкурного страха перед темнотой и одиночеством. Он шантажирует демиурга: «клянется – не перенесет эту беззвездную муку!». Вы понимаете уровень манипуляции? Чувак устраивает сцену с элементами суицидального шантажа перед Создателем Вселенной просто потому, что ему некомфортно вечером! Ему плевать, что у Бога и так работы по горло – там четырнадцатый год на дворе, мировая война разгорается, тектонические сдвиги истории. Но нет, Бог должен бросить все дела, взять стремянку и полезть вкручивать лампочки на небосводе, потому что нашему нежному мальчику «страшно».

Она поглядела со своей высоты на Тоню Плядчук.

– А теперь финал, дети. Самое сладкое. «А после ходит тревожный, но спокойный наружно. Говорит кому-то: „Ведь теперь тебе ничего? Не страшно? Да?!“». Вы думаете, он о ближнем заботится? Хрена с два. Это чистейшее самоутверждение за чужой счет. Он приполз к какой-то очередной бабе – или к такому же инфантилу – и хвастается: «Видала, че я ради тебя сделал? Я самого Бога на карачки поставил, он мне звезду зажег. Цени мою заботу». Это не гимн красоте, Плядчук. Это психологический портрет чувака, который называет «эти плевочки жемчужиной» просто потому, что эти плевочки – его собственные. Он заставляет всю Вселенную крутиться вокруг своего либидо и своих ночных страхов. Маяковский гениально зафиксировал зарождение эпохи тотального нарциссизма. Когда спецэффекты на небесах требуются исключительно для того, чтобы одна конкретная посредственность не обделалась от страха перед пустой комнатой.

Александра Сергеевна сошла на стул, а потом на пол. На секунду показалось, что ее крошечный силуэт заслонил собой все окно.

– Записываем тему домашнего сочинения, – сухо отчеканила она, направляясь к своему столу. – «Бытовой терроризм и манипуляция высшими силами в ранней лирике Маяковского». И не дай бог я увижу в ваших писанинах словосочетание «высокие чувства». Я вам устрою такую беззвездную муку, что Бог со стремянкой не спасет. Свободны.

«Похождения бравого солдата Швейка во время мировой войны», Ярослав Гашек

Майское солнце щедро заливало своими лучами перрон провинциального вокзала, плавя гудрон между шпалами и превращая далекий горизонт в дрожащее море. Пахло мазутом, дешевым табаком и утренней свежестью, которая неумолимо отступала под натиском полуденного зноя.

Александра Сергеевна Пушкина стояла у края платформы, едва доставая макушкой до пояса проходящих мимо пассажиров. Ее крошечная, всего девяносто сантиметров, фигурка в безупречно отутюженном льняном костюме цвета сурового полотна казалась случайным капризом природы, нелепой фарфоровой статуэткой, заброшенной вихрем судьбы в этот кипящий котел человеческой суеты. Двадцать пять килограммов чистой, концентрированной филологической воли. В руке она держала допотопный кожаный саквояж, который весил едва ли не треть ее самой, но несла его с гордостью римского консула.

Рядом, обливаясь потом и шумно дыша, переминался с ноги на ногу ее бывший ученик, а ныне – случайный попутчик по пригородной электричке, молодой учитель вероятности и статистики Витенька Пистенков.

– Вы только взгляните в эту панораму, Виктор, – тихо, певуче произнесла Александра Сергеевна, устремив взор огромных, лучистых глаз куда-то поверх проезжающих товарных вагонов. Голос ее, бархатный, глубокий, совершенно не вяжущийся с кукольным телом, завораживал. – В этой привокзальной кутерьме есть нечто великое, эпическое. Так сто лет назад закипала кровь Европы, когда цивилизация, опьяненная собственным величием, благословляла своих сыновей на бой. И среди этого священного безумия Ярослав Гашек сотворил свой бесмертный монумент человеческому духу. «Похождения бравого солдата Швейка»! Какая невыразимая, хрустальная нежность кроется в этом полотне! Это величайшая ода гуманизму, где маленькая, чистая душа Швейка, подобно библейскому праведнику, проходит сквозь огненную геенну мировой бойни, сохраняя первозданную любовь к ближнему. О, этот святой дуралей, этот юродивый двадцатого века, чья кротость обезоруживает саму смерть! Какое величие замысла...

В этот момент со стороны путей оглушительно, с металлическим скрежетом рывкнул громкоговоритель: «Поезд до станции N задерживается на тридцать минут! Повторяю...». Толпа на перроне синхронно и грязно выругалась. Какой-то разжиревший работяга, пятась с баулом, едва не наступил на Александру Сергеевну.

Она молниеносно выставила вперед крошечный локоть, с удивительной для ее веса силой ткнула мужика под коленную чашечку и, даже не взглянув на завывшего бедолагу, резко повернулась к Пистенкову. Лучезарность в ее глазах мгновенно сменилась ледяным, хирургическим блеском.

– Господи, Витя, какую же херню пишут критики, а вы, математический недотыкомка, этой херней питаетесь, – сухо и хрипло отрезала Пушкина, доставая из кармана портсигар. – Какой, к чертям, гуманизм? Какая святая душа? Швейк – это гениальное руководство по абсолютной, эталонной мизантропии, написанное конченым циником для таких же моральных уродов, как мы с вами.

Пистенков поперхнулся воздухом и преданно замер, инстинктивно втянув голову в плечи. Он знал: когда Александра Сергеевна включает этот тон, ее девяносто сантиметров ментально превращаются в три метра железобетона.

– Откройте глаза, Виктор, – Пушкина прикурила тонкую сигарету. – Гашек не писал антивоенный роман. Он препарировал скотскую природу человека, используя войну просто

как максимально удобный кафельный стол со сливом для крови. Все сопливые критики умиляются: «Ах, Швейк симулирует слабоумие, чтобы выжить в жерновах империи!». Чушь собачья. Швейк ни хрена не симулирует. Он транслирует миру чистую, дистиллированную дебилность как единственную работающую стратегию выживания среди стада эгоистичных тварей.

Она сделала затяжку и указала мундштуком на рассыпавшиеся из чьей-то сумки яблоки.

– Давайте разберем текст по косточкам, раз уж у нас есть полчаса в этом отстойнике. Посмотрите на окружение вашего «юридического». Подпоручик Дуб. Старший писарь Ванек. Фельдкурт Кац. Что это? Это же паноптикум! Гашек с упоением садиста показывает, что человечество состоит из трех фракций: клинических идиотов, вороватых приспособленцев и алкоголиков на грани делирия. И Швейк среди них – не праведник. Он – идеальный хищник-паразит этой экосистемы. Помните эпизод с поручиком Лукашем и краденой собакой? Лукаш – единственный персонаж, у которого сохранились хоть какие-то зачатки чести, интеллигентности и рефлексии. И что делает наш «добрый» Йозеф Швейк? Он методично, с улыбкой дауна, уничтожает жизнь своего благодетеля. Он крадет пса у вышестоящего полковника, подставляет Лукаша под трибунал, превращает его жизнь в кромешный ад, а потом преданно заглядывает в глаза: «Осмелюсь доложить, господин поручик, я же хотел как лучше!».

Александра Сергеевна зло сплюнула на рельсы.

– Это не глупость, Витенька. Это изощренный, подсознательный психологический садизм. Швейк – это метафора торжествующего хамства и серости, которая жрет культуру. Он доводит любой приказ, любую человеческую мысль до абсолютного, дегенеративного абсурда. Ему говорят: «Иди по карте», он находит на берегу чужую форму и радостно сдается в плен собственным войскам. Зачем? Да потому что ему плевать на геополитику, на Австро-Венгрию, на славянское братство. Ему вообще на все плевать, кроме трех вещей: набить брюхо кнедликами с капустой, выпить пива и почесать языком. Гашек вывел страшный тип персонажа – «человек-желудок», который благодаря своей абсолютной моральной кастрации оказывается бессмертным. Великие империи рушатся, благородные офицеры гибнут в грязи, поэты сходят с ума, а Швейк сидит в трактире «У чаши», ковыряет в зубах и рассказывает дебилские истории про ветеринаров и проституток.

Она снизу вверх посмотрела на Пистенкова, и тому показалось, что этот взгляд придавил его к асфальту платформы.

– Вы понимаете, в чем парадокс этой книги? – тихо спросила она, и в ее голосе снова зазвучала пугающая филологическая глубина. – Гашек искренне, до судорог ненавидел человечество. Он показал, что на великой мировой войне нет места подвигу, там есть только понос, вши, ворованная ветчина и тотальная, беспросветная тупость. И побеждает в этой войне не тот, кто храбр или умен, а тот, кто максимально мимикрировал под мебель. Швейк безупречен, потому что у него нет эго, нет совести, нет амбиций. Он – идеальная амеба. И когда дураки называют это «оптимизмом и жизнелюбием чешского народа», мне хочется выть. Это не жизнелюбие, Витя. Это эпитафия разумному человеку. Животный эгоизм, упакованный в обертку исполнительного идиотизма.

Электричка со скрипом и вонью паленых тормозных колодок наконец подползла к перрону. Двери с шумом распахнулись, выплеснув волну душного воздуха.

Александра Сергеевна легко, словно девочка, подхватила свой тяжеленный саквояж. Ее маленькое лицо снова приняло выражение академического покоя и невозмутимости.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.